

Александр Амфитеатров

Жар-Цвет



Александр Амфитеатров

Жар-Цвет

«Public Domain»

1895

Амфитеатров А. В.

Жар-Цвет / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1895

«Несмотря на жаркое утро, на эспланаде островного города Корфу было людно: с почтовыми пароходами при шли новые газеты с обоих берегов – из Италии и из Греции, и корфиоты поспешили в кафе: узнавать на полударовщину, что случилось за прошедшие три дня по ту сторону лазурного моря, отрезавшего от остального мира их красивый островок...»

© Амфитеатров А. В., 1895

© Public Domain, 1895

Содержание

Часть первая: Киммерийская болезнь	6
Глава 1	6
Глава 2	17
Глава 3	30
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Александр Амфитеатров

Жар-Цвет

* * *

Часть первая: Киммерийская болезнь

Глава 1

Несмотря на жаркое утро, на эспланаде островного города Корфу былолюдно: с почтовыми пароходами при шли новые газеты с обоих берегов – из Италии и из Греции, и корфиоты поспешили в кафе: узнавать на полударовщину, что случилось за прошедшие три дня по ту сторону лазурного моря, отрезавшего от остального мира их красивый островок.

В Cafe d'Esplanade, под портиками, затененными парусиновым навесом, сидели за разными столиками, но оба с газетами в руках и оба пили пресловутую местную «зензибирру» (имбирное вино) два господина, не знакомые между собою. Оба были иностранцы. Обоих проходящие корфиоты осматривали с немалым любопытством. В особенности привлекал внимание младший из двух – огромный, широкоплечий блондин, с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора, над красивым открытым лицом, с которого несколько застенчиво смотрели добрые, иссеро-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя, принять ни за англичанина, ни за немца; сразу бросался в глаза мягкий и расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский, из Москвы, по имени, отчеству и фамилии – Алексей Леонидович Дебрянский. Другой иностранец, темно-русый, почти брюнет, в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жиже сложением, зато брал верх смелою свободою и изяществом осанки, чего москвичу не доставало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо – скорее эффектное, чем красивое – оживлялось быстрыми карими глазами, умными и пронзительными на редкость; видно было, что обладатель их – тертый калач, бывалый и на возу, и под возом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать – лучше и не берись.

Дебрянский вычитывал «Figaro». Другой иностранец, изредка вскидывая на него глазами, пробегал «Le Temps»...

– Простите... кажется, мы соотечественники? – обратился он к Дебрянскому по-русски, когда тот оставил газету и сам тоже отложил в сторону свой журнал.

– Да, я русский... – сказал Алексей Леонидович, застигнутый врасплох русскою речью, которой он не слышал уже около месяца. – Но почему же вы догадались?

– А вы с таким вниманием вчитывались в корреспонденцию из России...

Дебрянский прикинул на глазомер расстояние до незнакомца:

– Однако, у вас замечательное зрение.

– Да, недурное... А потом, вы сняли шляпу, чего европеец в кафе не сделает. А в шляпе я прочел: «Лемерсье» – следовательно, вы из Москвы. Да и во всей вашей фигуре есть что-то московское, и путешествуете вы, надо полагать, недавно... Вероятно, вы здесь в научной командировке?

Дебрянский засмеялся:

– Вы очень наблюдательны, однако ошиблись: я не ученый...

– Гм, кто же вы в таком случае? На газетного корреспондента не похожи, да и зачем русскому корреспонденту сидеть в Корфу... по крайней мере, уже недели две, судя по фамильярности, с которой здесь, в кафе, вам служат? Больным вы не смотрите. В легких у вас, надо полагать, все благополучно: быка сломаете; следовательно, климатическая станция Корфу вам не нужна. Если вы коммивояжер, зачем же вы не носите зеленого галстука, красно-желтых перчаток, булавки с брильянтом в ноздь величиной и трости с набалдашником из слоновой кости, выточенной в Амура и Психею, Венеру и Марса или просто в голую женщину? Остается

предположить, что вы – так себе – скитающийся богатый форестьер, *principe russo*, (*Русский князь (итал)*). как говорится в Неаполе... Но таким и место в Неаполе, в Риме, в Венеции, на Ривьере: эта публика путешествует по Бедекеру. А на Корфу... что тут делать *principe russo*? Ни достопримечательностей, ни гидов, ни нищих... одна природа...

– Зато она-то тут уж как хороша! – заметил Дебрянский; небрежная и веселая речь незнакомца начинала его интересовать.

– Хороша-с... Но ведь вы не художник?

– Нет.

– Я и не сомневался: у художников взгляд иной... вы не умеете сразу осмотреть человека... Это только трем профессиям дано: художникам, портным и гробовщикам... пожалуй, прибавлю сюда еще английских спортсменов-боксеров, гребцов... впрочем, я их тоже включаю в разряд художников. А из художников... знаете ли: о нас, русских пущена по свету молва, будто мы как-то особенно любим и необыкновенно тонко понимаем природу, – только это неправда. Я никогда не видал, чтобы русский турист самостоятельно искал природу: он довольствуется той, которою, по казенному расписанию, угощают его путеводители. А кто не ищет, тот и не любит. Помилуйте! Хороша наша любовь к природе, когда у нас никак не могут привиться общества путешественников, альпинистов, парусного, гребного, лыжного спорта... Только картами и живут. Нет карт – и клуб умирает. И описывают у нас природу скверно... вычурно, облизанно... сразу видно, что дорожат не тем, что описывают, а сами собою в природе: вот, мол, какой я наблюдательный, как глубоко и тонко я проникаю, и какой у меня блестящий слог... И врут много: у Алексея Толстого зелень роц сквозила, а труба пастушья поутру еще не пела, трава едва всходила, а папоротник уже в завитках... Выдуманные, кабинетные описания... Купер когда-то природу хорошо описывал, ну, и у нас с тех пор народились и не переводятся Куперы... Русская природа оригинальна, но когда и кто ее оригинально выразил? Остатки сантиментализма, обломки от Руссо. Подражатели все... Пушкин умел – так это когда было! Да и короток он, скуп словами был, Пушкин. Я из русских описателей природы одного Сергея Аксакова люблю. Так ведь опять-таки – дьявольски давняя штука его природа. Теперь уже лет пятьдесят нет такой и в помине. А после – все больше хороший слог. Я и Тургенева не исключая. Вы вот изволили сделать протестующий жест – ведь вы просто Тургенева хотели мне напомнить, не правда ли?

– Да.

– Человек никогда не любит и не изображает хорошо того, чего у него много. Самый русский писатель, Достоевский, мимо русской природы, будто мимо пустого места прошел. Природой мы сыты по горло – *ergo, следовательно (лат)* до нее не жадны.

А насчет культуры у нас слабо – мы к ней и присасываемся за границей. Париж, Лондон, Вена – это так, там русские муравейником кишат. Но встретить русского в горах, на пустынном берегу, в трущобе – чудо. Англичанин сперва излазит собственными ногами всю Швейцарию, все Апеннинны, а потом уже попадет в Монте-Карло. А россиянин – чуть перевалил за рубеж – у него уже и застучало в виски: Монте-Карло, Монте-Карло, Монте-Карло...

– Ну какая же культура в Монте-Карло?

– Да та самая, единственно к которой россиянин питает доверие и благоговение: квинт-эссенция буржуазной религии – золото, кровь, девки... Читали, может быть, был такой старинный роман Арсена Гуссе? «Полны руки золота, роз и крови»... Вот вам Монте-Карло. Пускай – земной рай, да ангелы там с рожками и хвостиками... Одни англичане умеют там хоть сколько-нибудь прилично себя держать и характер сохранять, не слишком легко рядятся в дураки. На остальных жаль смотреть.

– Вы, кажется, очень любите англичан?

– Люблю: солидная нация, единственная разумная: есть умнее, но разумнее – ни одной; англичанин – настоящий – *homo sapiens*, понявший свое зоологическое значение на земле...

Однако – кстати об англичанах: мы с вами ведем себя как настоящие русские. И о природе поговорили, и Тургенева успели обругать, и некоторые избранные черты национального характера в два слова обсудили, а – кто мы такие, оба друг про друга не знаем. Позвольте кончить тем, чем англичанин начал бы, то есть – представиться... Граф Валерий Гичовский...

Дебрянский назвал себя и с большим любопытством уставил на графа большие глаза свои. Оказывалось, что эффектная наружность интересного господина не обманывала ожиданий, которые невольно подавала, но вполне соответствовала громкой и странной репутации, широко окружавшей его имя. Так вот каков был он, граф Валерий Гичовский, знаменитый путешественник и светский человек, искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних – мудрец, для других – опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга?!

Дебрянский – хоть и не крупный, но все-таки московский финансист и делец банковский – помнил имя Гичовского не только по молве и газетам. Лет пятнадцать тому назад братья Гичовские выиграли у казны процесс о миллионном наследстве, по боковой линии, чуть еще не от Понятовских, – процесс, тянувшийся через несколько поколений. Одного из Гичовских – Викентия – Дебрянский даже лично знал немножко, по Москве: он стоял во главе нескольких промышленных предприятий, затеянных на широкую ногу, при участии преимущественно иностранных капиталов; слыл большим дельцом и крупным биржевым игроком – холодным, выдержанным, с твердым расчетом на небольшую, но верную прибыль, с капиталом, который прибывал, как внешняя вода, и обещал вырасти в большие миллионы. О графе Валерии – том, который сейчас сидел с Дебрянским, – держалась твердая молва, что он свою долю наследства давно уже спустил во всевозможных фантастических предприятиях и авантюрах и теперь гол как сокол, живет на средства неопределенные и в способах добывания их не весьма разборчив.

– А вы, граф, ведь это вы, если не ошибаюсь, несколько лет тому назад предпринимали путешествие в Судан?..

– Да. Я не знаю, чего ради так шумно огласили это путешествие. Оно было ничуть не замечательно. Я сделал таких десятки. Нет страны, доступной европейцу, где бы не побывала моя нога. Земля ужасно мала. Пора выдумать какие-нибудь дополнения к ней – иначе очень скоро людям станет тесно и мрачно, как в тюрьме. Гамлет прав! Весь мир тюрьма, и родина – самое скучное в ней отделение.

Дебрянский засмеялся:

– Дополнение к земле?.. Однако!

Гичовский устремил прямо в лицо ему пристальный взгляд пронизательных коричневых глаз.

– Почему нет? Делают же пристройки к тесным домам, и у растущих городов развиваются предместья и пригороды.

– А вы – что же? Предпланетье, что ли, желаете учредить?

– Назвать успеем, лишь бы было, что назвать... Места в небе много... вон какой простор...

– Ага, вы говорите о воздухоплавании!

– Да, человеку пора иметь крылья.

– Может быть, и сами занимаетесь этим вопросом?

– Занимаюсь, да. Но не делайте беспокойных глаз. Воздухоплавательной машины я не изобретаю. Следовательно, не полезу тотчас в свой карман за планами и чертежами, а потом в ваш за пособием.

– Помилуйте, граф, я и не думал... – сконфузился Дебрянский, потому что у него действительно мелькнула было мысль в этом роде. Гичовский засмеялся:

– Не думали – тем лучше... Я, батюшка, сам стреляный воробей, – сказал он серьезно. – Сколько денег я передавал на аэропланы, дирижабли и баллоны с рулем разным господам, заявлявшим свою кандидатуру в птицы небесные, это и сосчитать страшно. Теперь – баста. Впро-

чем, нечего больше и давать... Вы – москвич. Значит, от вас излишне скрывать, что денежно я – человек конченный...

– Я не совсем понимаю ваш скептицизм к современным изобретениям воздухоплавания, – сказал Дебрянский, заминая веселое признание графа. – Кажется, оно делает такие быстрые успехи...

– О, да! Только условны они ужасно, успехи эти. Законов нет. Голая эмпирика. Все случаи и забегание вперед. И аэропланы, и баллоны, покорные рулю, и лодки-птицы – все это будет со временем играть роль в воздухоплавании... вот как теперь в морском деле играют роль разные системы пароходов. Но – чтобы проплыть по воде в снаряде, надо было человеку убедиться, что он сам может держаться на воде телом. Я уверен, что от появления человека на земле до построения первой байдары прошло гораздо больше, веков, чем от спуска этой байдары – до наших мониторов. Даже церковная хронология и та считает от начала человечества до постройки первого корабля две с половиною тысячи лет. Во всех мифологиях первое построение, то есть открытие корабля, связано с потопами, великими наводнениями. Следовательно, чтобы человек выучился плавать, не он в воду пошел, а вода за ним пришла. Но мы избаловались успехами культуры – и с воздухоплаванием слишком нервничаем – и спешим. Мы очень самоуверенны. Наша наука так огромна и сильна, что это понятно и извинительно. Однако она не всемогуща – уже потому, что она, так сказать, ретроспективна. Для того, чтобы лететь, мы плохо знаем и самих себя и среду, которая манит нас в нее подняться. Воздух не идет за нами, как когда-то пришла вода. Физические законы до сих пор устанавливались с преобладающим расчетом на применение их к земле и, естественно, к земле нас и тянут, а не в высь воздушную. Все еще ньютоново яблоко жуем. А оно не вверх, а вниз упало. А теперь падать-то надо уже не вниз, а вверх.

– Видите ли, – продолжал он, помолчав, – закон можно установить только анализом проявляющих его фактов. Это – азбучное правило, которое, однако, часто забывается. В науке еще много бюрократизма: все норовят факты подгонять под априорные законы, благо их много, а фактов мало... Знаете, как Крукс, когда совсем ошалел от спиритических фокусов, в которых погубил он свой научный талант и огромную европейскую репутацию? Ему говорят: доказанных фактов нет. А он твердит: тем хуже для фактов. Да, законов много, а фактов мало.

– Мало? – изумился Дебрянский.

– Разумеется, мало. Возьмите тот же воздухоплавательный вопрос. Его решают совершенно априорною логикою: человеку хочется полететь; так как птицы, летучие мыши и насекомые летают при помощи крыльев, а у человека крыльев нет, то надо выдумать для него снаряд, заменяющий крылья... Или: человеку хочется полететь; так как держаться на воздухе могут только те тела, которые легче воздуха, то надо привязывать человека к подобному легковесному телу столь большого объема, чтобы в его громаде потерялась тяжесть малообъемного человеческого тела. Все это и верно, и неверно. Верно потому, что и снаряд такой возможен, и воздушные шары летают, то есть держатся в небесах с грехом пополам, уже сто с лишком лет. А неверно потому, что полет снаряда или воздушного шара есть только полет снаряда или воздушного шара, но совсем не полет человека. Если человеку суждено полететь, он полетит сам, без всякого снаряда. Сам полетит, как сам плавает.

– Вот тебе раз! Как же это? – расхохотался Дебрянский.

Граф задумчиво смотрел вдаль.

– Я представлю вам доисторическую картину. Дикарь видит в первый раз большую реку. Раньше он видел только лесные ручьи, которые легко переходил, не замочив ног выше колена. Он видит: пред ним вода, но не может дать себе отчета ни в ее силе, ни в ее глубине. Предполагая, что это ручей, только более широкий, он входит в воду. Она покрывает постепенно его колена, бедра, грудь, шею, подбородок... Если погружение идет последовательно, то есть – уж позвольте злоупотребить термином – научно, то очень может быть, дикарь струсит, решит,

что дальнейшая глубина «не подведомственна законам здравого смысла», и вернется на берег. Тогда он будет только знать, что вода глубока, что входив в нее человек может, но лишь до тех пор, пока она не заливает ему рот, нос, уши. Словом, будет знать закон о зловредности воды: она – враг, с нею надо обходиться очень осторожно, иначе – гибель. Ну, и конечно, *primus deos fecit timor*: (*первых богов создал страх (лат)*) обожествить ее при этом удобном случае как грозного и не преодолимого бога. Реки не одних первобытных дикарей смущали. Римляне культурным народом были, когда, двинувшись к северу Италии, наткнулись на По – и страшно им озадачились: что за речичка такая? А велика ли штука? По?.. Но вот дикарь погрузился-погружался последовательно, научно – и вдруг совсем непоследовательно и ненаучно сорвался в глубокую колдобину. Дна под ногами нет, над головою этот ужасный враг – вода. Нахлебался ее и ртом и носом. Однако вместо того, чтобы потонуть, дикарь взял да и выплыл. Как? Он, разумеется, сам не понял: чудо. Но он начинает припоминать: позвольте, что я тогда делал? Я болтал руками и ногами – и вода стала меня держать. Стало быть, если болтать руками и ногами, вода человека держит. Вот – дикарь опытом достигает возможности плавания, а в будущем – и его законов.

Алексей Леонидович от души расхохотался.

– По вашей теории, – сказал он, – выходит так: для открытия законов воздухоплавания надо, чтобы кто-нибудь свалился с колокольни и вместо того, чтобы разбиться вдребезги, – полететь...

– Да... в этом роде... чтобы это случилось ненамеренно, а исследовано было внимательно и беспристрастно, – уже совсем серьезно сказал граф.

– Ну, знаете, это, извините меня, из анекдота о скептическом семинаристе, который чуда не признавал.

– Я не знаю, не помню.

– Спрашивает его архиерей на экзамене: вообрази мне из жизни пример чуда. Задумался, молчит. – Ну; если бы, скажем, ты свалился с соборной колокольни и остался цел, это что будет? – Случай, ваше преосвященство. – Гм... Случай... Ну, а если бы и во второй раз? – Счастье, ваше преосвященство. – Гм... счастье... экой ты, братец... Ну, вообрази совершенно невообразимое: вдруг бы повезло тебе этак же благополучно свалиться и в третий раз? Как бы ты сие понял? – Привычка, ваше преосвященство!..

– Что же? Ответ в своем роде философский, – улыбнулся граф. – Чудо, обращаемое в прикладную привычку, – в этом вся суть и цель естественных наук.

Де брянский продолжал хохотать.

– Вряд ли вы найдете много охотников на подобные опыты...

Граф пожал плечами.

– Я видел летающих людей, – возразил он.

– Вот как... Где же вам так повезло? Впрочем, что же я спрашиваю? Разумеется, в Индии?

– Почему?

– Да как-то всегда и все подобные чудеса совершаются в Индии... это принято... это хороший тон сверхъестественного...

– Нет, – сказал граф, – это было не в Индии, а на одном из маленьких островов вот этого самого Ионического моря, которое нас окружает. Я видел, как один матрос, грек, поругавшись с товарищем-рыбаком, в слепом озлоблении прыгнул с ножом в руках к нему в лодку с борта парохода – и не разбился и не упал в море, а спустился плавно, точно на парашюте. Этого матроса убили бы, если бы я не заступился, потому что его приняли за колдуна. Потом видел я немца-гимнаста: он прыгал необычайно высоко и на большие пространства и при этом как бы немножко парил в воздухе. Я расспрашивал его: как он это делает? Он не умел объяснить. Я расспрашивал его: что он при этом чувствует? Сильное нервное возбуждение, чрезвычайно приятное, доходящее до самозабвенного экстаза... Я очень жалею, что недостаточно

знаю, чтобы в объяснение этим фактам построить научную гипотезу. Но я видел и твердо уверился в одном: бессознательно, экстатически некоторые люди если не летают, то подлетывают, парят – следовательно, вопрос о воздухоплавании без снаряда сводится лишь к тому, чтобы бес сознательное превратить в сознательное, экстаз превратить в управляемый феномен воли, открыть его законы и, овладев ими, подчинить себе, обратить производство феноменов в теоретическое постоянство и прикладную силу, работающую по востребованию.

– Если вы обратите ваше внимание на легенды о воздухоплавании, – продолжал он с задумчивостью, – то вы увидите, что все их историческое и доисторическое накопление сводится к четырем категориям. Первая – полет при помощи снаряда: золотая стрела скифа Абариса, крылья Дедала, Фаэтон в колеснице Солнца, Симон-Маг, русские и восточные сказки о коврах-самолетах, заводных конях и т. п. Вторая – волшебный полет при помощи злых духов или добрых: быстрые перемещения гомеровских героев дружественными им богами, Фауст и Мефистофель на бочке ауэрбахова погребца, новгородский угодник Иоанн, которого черт, запертый в рукомоинике, вынужден был возить к обедне в Иерусалим, кузнец Вакула, полеты на шабаш и так далее. Сюда же относятся рассказы XVII века о бесноватых и порченных, которые летали против своей воли, по приказам колдунов или самого сатаны; того же характера современные медиумические легенды и чудотворные рассказы теософов, хотя бы, скажем, Блаватской о разных там магатмах индийских. Эта категория нашему обсуждению не подлежит, так как она наголо спиритуалистическая и нам не может сказать ничего. Говоря языком материалистическим, мы здесь всецело в области раздвоения личности экстазами воображения. Тут речь идет не о физическом передвижении, но о множественности сознаний, таящихся в человеке, не о механике перемещения, но о двойном видении и обостренном чувствовании, об извращении психической энергии, об аномальной способности мысли торжествовать над пространством, доходя даже до физических самообманов «второго зрения». Третью категорию мы тоже оставим в сторону, так как она, наоборот, чисто натуралистическая: включает в себе памятки о вымерших чудовищных птицах и ящерах: драконы, птица-Рок, грифы, орлы и прочие благодетели сказочных героев, по существу лишены непосредственного демонического оттенка и зараженные им только по соседству с предыдущей категорией. И, наконец, последняя, четвертая категория – самая для меня интересная: полет силою экстаза. Вы отчасти правы, что давеча помянули Индию. Чудо поднятия и парения в воздухе усилием восторженного экстаза – *udwega grīti* – считается там вполне возможным, а древняя литература Индии даже предполагает степень аскетического совершенства – *indhi* – когда такое чудо становится для человека хроническим. Аскет, находящийся в состоянии *indhi*, поднимается на воздух с такой же простотою и с таким же малым усилием воли, как обыкновенный человек прыгает. Буддийские летописи присваивают эту способность не только самому Гаутаме, но и некоторым предкам его, например, Магу Саммате. Это – третье искушение Христа дьяволом в пустыне: «И поставил его на крыле храма и сказал Ему: если ты сын Божий, бросься отсюда вниз: Ангелам Своим заповедает сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». Аполлоний Тианский в романе Филострата видел, как индийские брахманы поднимались в воздух на два и на три локтя, чтобы вознести молитву к Солнцу. То же самое чудо рассказывает Лукиан о каком-то фокуснике-гипербореянце, который для того, чтобы летать по воздуху, даже и сапог не снимал. Приписывают способность парения и неоплатонику Ямвлиху, хотя он ее в себе отрицал. В христианстве – католический мир полон подобными сказаниями на всем своем пятнадцативековом протяжении. Св. Эдмунд Кентерберийский, Св. Дунстан, Св. Филипп Нери, Св. Игнатий Лойола, Св. Доминик, Св. Тереза и множество других святых отмечены в житиях своим редкостным даром отрывать от земли силою молитвенного экстаза. Дон Кальмет – уже в XVII веке – знал монаха и монахиню, подверженных парению в воздухе даже против своей воли, как скоро они вдохновлялись молитвою или видом священного изображения. У нас в России то же самое рассказывают о Серафиме Саровском...

– Да, – возразил Дебрянский, но заметьте, граф: все это – в монастырях, между монахами и монахинями... Все – религиозная легенда... Где же научное наблюдение?

Гичовский пожал плечами:

– Кто же дерзнет говорить о наблюдении? Конечно, никакого... «Я видел» – не наблюдение. Любопытна древность и общность этих анекдотов. А то условие, что в монастырях, между монахами и монахинями, я принимаю не во вражду, но скорее как благоприятное. Канаты делаются на канатных фабриках. Экстазы – на фабриках экстаза. Тот результат, что хронический экстаз одинаково настроенного коллектива должен время от времени вырабатывать острую единицу личности, необычайно сильной и чуткой в экстатических проявлениях, кажется мне не только возможным и вероятным, но – логически – даже необходимым: это – местный и быстрый лизис общего и длящегося кризиса... только и всего!..

Он задумался.

– Вы, конечно, имеете понятие о графе де Местре, авторе «Петербургских вечеров»? Он сообщает об одном молодом человеке, что тому так часто казалось, будто он летает или готов, способен лететь, что он даже начал сомневаться в законе тяготения – действительно ли так строго подчинен ему человеческий организм?... Самый экстатический художник Возрождения Бенвенуто Челлини, когда губернатор цитадели Сан-Анджело спросил его, может ли он летать, ответил с совершенно твердым убеждением: «Дай мне пару крыльев из вощенной холстины, и я, подобно летучей мыши, пролечу до Праги.» Религиозный экстаз заметнее всех других потому, что он еще разрабатывается и покровительственно культивируется, тогда как другие виды экстаза проявляются лишь короткими вспышками, а если затягиваются, то мы уже пугаемся их, считаем их аномалиями, недугами. Некоторые экстазы в Европе до того вылиняли, что могут считаться вымершими. На пример, боевой экстаз, которым дышат герои. «Илиады», а еще больше саги о скандинавских берсеркерах. Или творческий художнический экстаз, как описывают его Вазари и Бенвенуто Челлини. Экстаз вина сейчас ведет человека в полицейский участок или в лечебницу для алкоголиков, а половой экстаз называется сатириазисом и нимфоманией и разрешается либо на скамье подсудимых, либо в сумасшедшем доме. Великая сила цивилизации возвышает разум. Но за большое удовольствие надо платить маленькою неприятностью: она принижает инстинкт. Мы развиваем сознательность за счет своей «животной души»: ум растет, экстатический материал гаснет. Чтобы современный человек чувствовал в себе работу инстинкта, даже точнее будет сказать, чтобы можно было изучать его вне разума, как существо только инстинктивное, приходится наблюдать его в состояниях искусственно ослабленной и затемненной воли: в острой болезни, в гипнозе. Гомеопат Боянус делал прелюбопытные опыты над тифозными. В периоды бреда его больная чувствовала вкус йода в тридцатом делении и бессознательно жаловалась, что ее поят такую дрянью. Придя в себя, она не узнавала йода даже в третьем делении... Цивилизация повсеместно знаменуется убылью экстаза и ограничением его общности. Для явлений экстаза любому чукче или негру-обисту легко найти медиума в собственной своей семье, тогда как человеку европейской цивилизации приходится гоняться за «сензитивами», как их Рейхенбах определяет, будто за птицею-фениксом, по всем пяти материкам – да и то из обретенных сензитивов верная половина – мошенники просто, четверть – полумошенники, полубольные, а остальная четверть – больные просто, сами не знающие, где в них кончается симуляция, где начинается истерия...

Гичовский воодушевился.

– Вы употребили слово «сверхъестественное»... Позвольте вам сказать, что это совершенно ложный термин... Естество наполняет весь мир, и сверх него нет ничего в мире... Я не мистик, я материалист и твердо убежден, что нет явлений, которые не были бы объяснимы логическим и естественно-законным путем. Но мы знаем мало, чрезвычайно мало... может быть, тысячную, миллионную долю того, что надо знать и будут знать наши потомки – люди двадцать первого, двадцать второго века. За нашим веком останется одна великая заслуга: мы

не только накопили в пользу потомков огромнейший материал для познания, исследования и разработки – это сделали все века для своих преемников – но и великолепно подготовили его к разработке и исследованию, чего еще ни один век не делал. Все, что для нас еще сверхъестественное, через два века будет, вероятно, совершенно точно уяснено, введено в строгие рамки механической науки. Сверхъестественного не будет.

Алексей Леонидович остановил Гичовского:

– Простите, граф, но вы слишком увлечены верою в цивилизацию. Тяготение к сверхъестественному в человеке происходит не от борьбы с природою за роль свою в ней, но от стремления к высшему идеалу, закрытому от нас смертью, стремления, неразрывного с самым бытием человеческим, покуда существует смерть. Ее-то ведь вы не рассчитываете уничтожить?

– Нет. Но ей пора быть управляемой. Приходить, когда сам человек ее захочет. Мир должен найти и уготовить себе эвфаназию древних, остатки которой история еще успела застать. Чтобы смерть была не мукою и ужасом, но лишь удовлетворяющим фазисом великого естественного физиологического процесса. Чтобы запрос на нее предъявлял сам организм наш, и умирать было бы так же необходимо просто, как есть, пить, рожать детей. Вспомните Литтре: смерть не больше как отправление организма, последнее и наиболее покойное из всех отравлений. Все это весьма возможно, заметьте, и к такой победе над смертью наука уже движется довольно уверенными шагами.

– Я знаю. Но организм-то изнашиваться все-таки будет? Смерть по естественному-то хотению вы все-таки оставляете?

– Конечно.

– А если будет такое хотение, то будет и такой порог, за которым начинается для человека сверхъестественное, и останется любовь и пылливость к нему... Как бы громадны ни оказались успехи науки, как бы много бы ни осветила, человек всегда сохранит для себя в природе множество темных уголков, к которым будет относиться с суеверным страхом и с фантастическим уважением...

Граф снисходительно кивнул головою.

– Ну, да, да... сонни!.. (известно (франц)) Еще Альберт Великий от лично установил это положение, что, собственно говоря, нет, не было и вряд ли будет кто в человечестве, имеющий право чистосердечно сказать, что он недоступен чувству сверхъестественного... Словом, «есть много, друг Горацио», и так далее, и так далее...

Дебрянский говорил:

– Это не роскошь духа, а потребность его, спрос первой необходимости. Потребности же не умирают и не замолкают. Вот вы изволите говорить, что в мире нет ничего сверхъестественного. А я твердо уверен, что вы преувеличиваете свой материалистический энтузиазм... Возьмем для примера хоть так называемые медиумические явления. Вы присутствовали при них?

– Разумеется, десятки раз, – сказал Гичовский.

– И что же?

– Очень много шарлатанства и пошлости: все эти летающие гитары, стуки в указанных местах, светящиеся мизинцы. Я это все сам умею делать не хуже мисс Фай и Евсебии Палладино. Но, в общем, я принимаю возможность материальных проявлений мертвого, то есть, точнее будет сказать, в мертвых живущего, мира. Мне жаль, что я не имел случая наблюдать удачной материализации. Все нарывался на мошенников, работавших кантоновым фосфором и парафином.

Алексей Леонидович неприятно поморщился: ему по казалось, что блестящий день как будто посерел, и в жар солнечных лучей, опалявший Корфу, прокралась тонкая струйка холодной северной сырости...

– А что бы вы сказали, – спросил он после долгого молчания и понизив голос, – если бы вам случилось видеть призрак?.. Настоящий призрак... совершенно такого же человека, как мы с вами, но он мертвый и, однако, ходит и говорит, как живой?

Граф зорко посмотрел на Дебрянского.

– С вами было что-нибудь подобное? – быстро спросил он.

Дебрянский промолчал.

– Не люблю я говорить об этом, – сказал он после долгого колебания, видя, что настойчивый взгляд Гичовского не хочет от него оторваться. – Это, извините меня, довольно свежая моя рана, и, вспоминая о ней, я дурно себя чувствую. Когда-нибудь при случае, если встретимся и буду я, настроен лучше и спокойнее, попробую рассказать...

– Как я вам завидую! – сказал граф. – Мне никогда не удавалось проникнуть в мертвый мир, хотя я гонялся за необыкновенным и фантастическим по всем странам земного шара. Подобно Фламариону, я самый тупой антимедиум, совершенно неспособный воспринимать телепатические явления. Мозг мой, очевидно, отталкивает этот род эфирных волн. Что бы я сказал, спрашиваете вы. Прежде всего, уверился бы, что я не обманут и не галлюцинирую, и если бы научно доказал себе, что так, то поспешил бы признать реальность явления и начал бы исследовать и изучать суть его всеми данными и средствами естественных наук.

– Значит, а priori вы согласны с его законностью? – глухо спросил Алексей Леонидович.

– Видите ли. Весьма умный человек, великолепнейший астроном Франсуа Араго, тот самый, который на вопрос о боге отвечал, что в этой гипотезе он никогда не встречал надобности, сказал однажды: нерассудительно поступает тот, кто употребляет слово «невозможно» вне области чисто математической. Как я уже сказал вам, я материалист. Но именно как материалист рассуждая, а стучаюсь я вот о какое возражение. Не может же человек – такой огромный и отборный кусок материи, выработанный в то нервное совершенство механизма, которое спиритуалисты называют духом, – уничтожиться смертью так-таки вот весь, в совершенный нуль. Мы вот теперь обстоятельно, научно знаем, что в одном миллиграмме воды таится, в потенциальном состоянии, столько электрической энергии, что, освободившись вдруг, она превзошла бы силою движения самые сильные действия динамитных зарядов. В одном миллиграмме воды! А ведь человеческое тело по весу содержит воды от 70 до 80 % веса. Од Рейхенбаха – осмеянное, темное место, возможный самообман. Но опыты Рейхенбаха, засвидетельствованные Фехнером и Эрдманном, показали несомненное действие человеческого организма на такую стихийную силу, как магнитная стрелка. Знаете ли вы, что по вычислению Рише, в организме внука переходит примерно лишь одна триста шестидесятитысячная триллионной части того вещества, которое находилось в организме деда? И, однако, этой доли, умом едва вообразимой, оказывается достаточной для того, чтобы ее энергией устанавливалось разительное фамильное сходство. Куда же разряжается энергия такой могучей и сложной машины? Где-нибудь и как-нибудь она прилагается и живет. А вот где и как – это-то и есть секрет будущего, это ждет исследования.

– И вы полагаете его возможным и вероятным?

– Если его полагали достойным своего внимания такие люди, как Уоллес, Рише, Остроградский, Морган, Эдуард Гартман, почему буду относиться к нему с высокомерием я? Почему же оно менее вероятно, чем возможность упорядочить воздухоплавание, о чем мы сейчас только говорили?

– Да я, и в это не верю.

– Напрасно. Галилею не верила инквизиция, что земля вертится, Соломона Ко посадили в сумасшедший дом за идею о двигательной силе пара, над Фультоном смеялся его родной брат... А если бы Галилею, Соломону Ко, Фультону показать в будущем Эдисона – телефон, фонограф, электрическое освещение они приняли бы за бред и насмешку. Да зачем в поисках неверия уходить так далеко? В 1878 году член Института Бульо, присутствуя при демон-

страции Демонселем фонографа Эдисона пред заседанием парижской Академии наук, торжественно заявил, что все это шутки и плутни чревоушителей, и полгода спустя сделал весьма обстоятельный доклад, предостерегавший ученое собрание не поддаваться мороке американского шарлатана. Доклады ученых, твердо ушедших в футляр системы, – штука броненосная. Еще Галилей плакался Кеплеру, что падуанские профессора не хотят видеть ни планет, ни луны, ни самой зрительной трубы, ищут истину не в мире или природе, а в сравнении текстов, и стараются лишить небо планет логическими доводами, точно магическими заклинаниями. Двести лет спустя Гегель, основываясь на философских началах, старался доказать а priori невозможность существования планет между Юпитером и Марсом. Увы! В тот же самый год, 1 января 1801 года, Пьяцци открывает первую из малых планет! А Хладни, который едва сам себе верил, когда напал на теорию метеорных масс, потому что имел против себя такие авторитеты, как Гассенди и Лавуазье в прошлом, Лаплас и Лихтенберг в современности, – и, однако, заставил «просвещение, отрицавшее падение метеоритов, уступить место большему просвещению, допускающему это падение»? Огюст Конт отрицал возможность изучить химический состав звезд за пять лет до того, как спектральный анализ установил классификацию светил именно по химическому их составу. Араго, Тьер, Прудон не понимали будущности железных дорог. Майера, творца термодинамики, на смешки ученых критиков довели до покушения на самоубийство. Томас Ионг и Френель за световые волны подверглись публичному поруганию со стороны лорда Брума. Близко ли, далеко ли смотреть назад – все равно: ученый с новой идеей для собратьев своих – всегда «циркулятор», как Гарвей, или «лягушечий танцмейстер», как издевались над Гальвани за первые опыты его тоже весьма, по своему времени, ученые и неглупые люди... А мы уже и Эдисонами не довольны. Мы накануне открытия телефоскопа. Телеграф не сегодня завтра отвяжется от своей проволоки. Мы найдем тайну древних магов, умевших смотреть и видеть сквозь непроницаемые темные предметы. (*Написано в 1896 году (прим. автора)*) Электричество – сто лет тому назад орудие игрушечных опытов – в настоящее время закономерная и всеобъясняющая сила. С каждым днем выступают в ученых исследованиях все новые и новые стороны деятельности этой силы, наполняющей собою природу – деятельности творческой, сохраняющей, деятельности разрушающей. Несомненно, электричество откроет нам когда-нибудь и ту еще загадочную, не имеющую ни имени, ни места, ни даже намеченного бытия область, изучение законов которой одарит нас воздухоплаванием.

– Какая же это область? – спросил Дебрянский. Гичовский помолчал.

– Я считаю, – медленно начал он, – совершенно доказанным – и каждая птица мне это подтверждает, – что по законам, действующим в рамке наших трех измерений, человек никогда не полетит. Стало быть, чтобы полететь, он сперва должен открыть, изучить и принять в свое сознание то неведомое четвертое измерение, которое он сейчас только смутно предчувствует. Открыть, изучить и принять в сознание – не как мистическую формулу шарлатанской науки спиритов, теософов и tutti quanti. (*Все прочие (умал)*). Мы обязаны превратить его в физический закон, пока еще тайный, но должный обнаружиться пытливого силою человеческого ума – подобно тому, как обнаружился ею закон земного притяжения, загадочного для людей до Ньютона и его современников не менее, чем для нас загадочно четвертое измерение.

– Ну, знаете ли, есть разница.

– Вы думаете?

– Одно дело – стройная теория, ясная как день, в броне неопровержимых доказательств, другое – фантастическая гипотеза, которую кто-то назвал романтикою математики...

– Не знаю, не помню. В математике очень можно быть романтиком, и бывали удивительные романтики даже и помимо гипотезы четвертого измерения. Лобачевский, Остроградский, Гаусс, Риман – конечно, в высшей степени романтические головы... Может быть, именно потому они и были великими математиками. А что касается теории, ясной как день, хорошо нам с вами разговаривать так-то, двести с лишком лет спустя после того, как она завоевала себе

мир и подчинила науку. А прочитайте-ка, что в свое время писал Лейбницу об идеях Ньютона Гюйгенс. «Мысль Ньютона о взаимном притяжении, – громил он, – я считаю нелепою и удивляюсь, как человек, подобный Ньютону, мог сделать столько трудных исследований и вычислений, не имеющих в основании ничего лучшего, как подобную мысль». Сейчас эти слова звучали бы бессмысленно и дико для слуха даже в устах невежды, едва тронутого элементарною школою. А в XVII веке они гремели авторитетом из уст самостоятельного ученого, который соорудил удивительнейшие объективы, открыл при помощи их туманность Ориона, одного из спутников, и кольцо Сатурна, изобрел часы с маятником и спиральною пружиною, оставил блестящий след в геометрии, физике, механике, астрономии... У нас в России о «воображаемой геометрии» Лобачевского десятки лет говорилось с улыбкою снисходительного сожаления: дескать пунктик гениального человека, у которого ум за разум зашел от полетов в наиотвлеченнейшие сферы в наиотвлеченнейшей из наук. Между тем, другие труды Лобачевского отошли ныне на второй план, а «воображаемая геометрия» заняла прочное и почетное место в истории науки. Нашел ли он новую идею? Нет. Потому что его «воображаемая геометрия» имела предшественницу в астральной геометрии Швейггарда, Гаусс проповедовал те же убеждения еще в конце XVII века, понятие «абсолютного пространства» принимал Иммануил Кант и соприкасался в нем с Берклеем... Вся заслуга гениального Лобачевского – Колумбова: открытие самостоятельного входа в новую область – нового плана причинной схемы, снова отодвинувшей от познавательной энергии человеческой ту роковую, зловещую границу, которая возвещает капитуляцию пред априорностью, на которую рано или поздно натываются в поиске причинностей даже самые могучие и неистощимые умы человеческие, фатум, который обязателен даже для Кантов, Шопенгауэров, Гельмгольцев... Четвертое измерение опошлено обывательскою болтовнёю, чудес ищущей... Что оно? Какая-то встреча времени с пространством, какое-то превращение материи в энергию... Математики этих загадок не боятся. Риман рассматривал каждый материальный атом как вступление четвертого измерения в пространство трех измерений. Мир для него был океаном вещества, которое постоянно течет в весомые атомы, и то место, где мир умственный вступает в мир телесный, определяет собою вещественные тела... Сейчас это место постигается умозрительно. Надо сделать его постижимым, чувственным. Вот и все.

– Не мало!

– Да, много, но не безнадежно. Наука трудно находит тропы свои, а раз нашла, шагает по ним быстро. Ей понадобилось две тысячи лет, чтобы выбиться из повелительных оков спиритуализма, но едва она выбилась, и – уже четверть века спустя – показывала «душу» под микроскопом!

Глава 2

Новый знакомый очень понравился Дебрянскому. Он чувствовал, что сдружится с Гичовским, и был очень доволен, что судьба послала ему навстречу такого опытного и бывалого путешественника. Но странный разговор несколько расстроил его и, когда граф откланялся и ушел в свой отель, Дебрянский долго еще сидел в кафе, погруженный в довольно мрачные мысли. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле: врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами, в качестве знатного иностранца, и не хотел, и не мог.

Неожиданно свалившись с серой московской Плющихи на сверкающий Корфу, где вечно синее небо, как опрокинутая чаша, переливается в вечно синее море, Алексей Леонидович, сказать правду, изрядно-таки скучал. Человек он был – Гичовский верно его угадал – самый московский: сытый, облененный легкою службою и холостым комфортом, сидячий, постоянный и не мечтающий. И смолоду пылок не был, а к тридцати пяти годам вовсе разучился понимать беспокойных шатунов по белому свету, охотников до сильных ощущений, новостей природы и экзотических необыкновенностей. Взамен бушующих морей, горных вершин, классических развалин и мраморных богов такому, как он, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающий камин, интересная книга и восприимчивое воображение.

– Совсем нет надобности переживать сильные ощущения лично, – говорил он, – если можно их воображать, не выходя ни из душевного равновесия, ни из комнаты и притом в чуже... ну, хоть по Пьеру Лоти или Гюи де Мопассану. Подставлять же под всякие страхи и неудобства свою собственную шкуру – страсть для меня совершенно непонятная. Отсутствие душевного равновесия и комфорта не в состоянии вознаградить никакая красота.

Он не переменял своих взглядов теперь пред дивным величием Ионического моря.

– Красиво, – думал он, – но воображение создает красоту... не то чтобы лучше, а – как бы сказать – уютнее, что ли...

И глубоко сожалел о своем московском кабинете, камине, кушетке, о службе, о своих книгах и друзьях, обо всем, во что сливался для него север.

– В гостях хорошо, – втайне признавался он, – а дома лучше, и если бы я мог, то сейчас бы вернулся. Совсем не к лицу мне Корфу это... Все праздник да праздник в природе – будней хочется... Но я не могу и должно быть, мне никогда уже не быть дома... Никогда, никогда!

Он уехал из Москвы, ни с кем не простясь, безрасчетно порвав с выгодною службой, бросив оплаченную за год вперед квартиру, не устроив своих дел... Словом, это было не путешествие, но бегство. Не от врагов и не от самого себя: первых у него не было, совесть же его была – как у всякого среднего человека – обывательская: нечем ни особенно похвалиться, ни особенно мучиться.

Что он болен, Дебрянский по выезде из Москвы ни кому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма необыкновенной почве.

Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на любовно-этической почве, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного.

Незадолго пред тем у него завязался роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов...

Однажды, возвратившись домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт, а покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился – подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домохозяйка Петрова, Анна Перфильевна, уснула из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали дверь и в рабочем кабинете Петрова, на ковре нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка: «Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как во время одной блестящей своей защиты в провинции он сманил эту несчастную – простую перемышльскую мещанку. Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было – как видно – перед смертью, но не конченную. «Что ж? женитесь, женитесь... а я вас не оставлю, не оставлю»... – писала покойная и – больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы.

Петрову не хотелось расставаться с квартирою, хотя и омраченною, страшным происшествием: его связывал долгосрочный контракт с крупною неустойкою. Однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал: жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив на помин грешной души покойной, за дремал у себя в кабинете. И вот видит он во сне: вошла Анна, живая и здоровая, только бледная очень и холодная как лед, села к нему на колени, как бывало, при жизни и говорит своим тихим, спокойным голосом:

– Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь... только я вас не оставлю, не оставлю...

И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль:

– Что ж я делаю? Как же это может быть? Ведь она мертвая.

И тут он, охваченный неопишуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся – весь в поту, с головою тяжелою, как свинец, от трудного похмелья и в отвратительнейшем настроении духа.

На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва пошла. Потом вдруг заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту, опереточную певицу. Потом так же неожиданно явился к ней поздней ночью – дикий, безобразный, но не пьяный – и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которою сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру – суеверная, как большинство актрис, – поехала в Грузины к знаменитой цыганке-гадалке спросить насчет своей судьбы в будущем браке...

Вернулась в слезах...

– В чем дело? Что она вам сказала? – спрашивал невесту встревоженный жених. Та долго отнекивалась, говорила, что «глупости». Наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала:

– Свадьбы не бывать. А если и станется – на горе твое. Он не твой. Между вас мертвым духом тянет.

Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим шипящим голосом произнес:

– Пронюхали...

Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видела.

В Дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговейно безмолвствовал: на эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова – эта величайшая трагическая актриса русской сцены – и со свойственной ей могучей экспрессией читала «Коринфскую невесту» Гете в переводе Алексея Толстого... Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мертвой невесты-вампира:

*И покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна идти за жизнью вновь!*

За колоннами раздался захлебывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь, как пьяный, сбивая с ног встречных, бросился бежать из зала среди общих криков и смятения. У выхода полицейский остановил его. Он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру безумие его выразилось настолько ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном периоде бреда преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжают те же ласки, те же отношения, что при жизни, и он не в силах сбросить с себя иго страшной, посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петрова сошло – и он стал умирать медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, такое, что в порядке вещей.

Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову он был человеком редкого равновесия физического и нравственного, отличного здоровья, безупречной наследственности. Звезд с неба не хватал, но и в недалеких умах не числился, в образцы добродетели не стремился, но и в пороки не вдавался – словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа на холостом положении, завидного жениха и впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить чересчур уж дико, большинство приятелей и собутыльников стали избегать его: что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом? Наоборот, Дебрянский – вовсе не бывший с ним близок до того времени – теперь, чувствуя, что с этим одиноким нелепым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его. Продолжал свои посещения и впоследствии, в лечебнице. Петров его любил, легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. «Настоящего сумасшедшего» он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом.

– А не боитесь вы расстроить этими посещениями свои собственные нервы? – спросил его ординатор лечебницы Степан Кузьмич Прядильников, на попечении которого находился Петров. Дебрянский только рассмеялся в ответ:

– Ну, вот еще! Я – как себя помню – даже не чувствовал ни разу, что у меня есть нервы, хоть бы узнать, что за нервы такие бывают.

В дополнение к своим визитам в лечебницу Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу «Дебрянского сыновья, Радолин и К». Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха, и приключалось в нем больше флирта, чем таинственно-

стей. Но Дебрянского как неопита для первого же появления в кружке нагрузили сочинениями Элифаса Леви и прочих мистагогов XIX века, которые он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив ими свою память и расстроив воображение. Однажды он рассказал своим коллегам-окультистам про сумасшествие Петрова.

– О! – возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. – О! Почему же сумасшедший? Сумасшествие? Хе-хе! Разве это новый случай? Он стар, как мир! Ваш друг не безумнее нас с вами, но он, действительно, болен ужасно, смертельно, безнадежно. Эта Анна – просто ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии... Вот и все! Прочтите Филострата: он описал, как Аполлоний Тианский, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте ламию, заклил ее, заставил исчезнуть и тем спас жениха от верной гибели... Вот! Ваш Петров во власти ламии, поверьте мне, а не безумный, несколько не безумный...

Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое, бабье лицо с бесцветными глазами и думал:

– Посадить твое превосходительство с другом моим Васильем Яковлевичем в одну камеру – то-то вышли бы два сапога – пара!

– Смотрите, Алексей Леонидович! – со смехом вмешалась хозяйка дома, – берегитесь, чтобы эта ламия, или как там ее зовут, не набросилась на вас. Они ведь ненасытные!

– Если бы я была ламией, – перебила другая бойкая барынька, – я бы ни за что не стала ходить к Петрову: он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый!.. Нет, я полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого!

– Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же налицо *le beau Debriansky*, (*красивый Дебрянский (франц)*) – это непростительно! У этой глупой ламии нет никакого вкуса!

Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а напротив, шевелили где-то в глубоком уголке души – новое для него – жуткое суеверное чувство.

Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жаль, и тяжело, и смешно его слушать. Жаль и тяжело, потому что говорил он о галлюцинации ужасного, сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно – до опереточного смешно – потому что тон его при этом был самый будничнейший, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может.

– Я поссорился вчера с Анною, начисто поссорился, – хвастовски рассказывал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк, при открытой визитке.

– За что же, Василий Яковлевич? – спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому.

– За то, что неряха! Знаете, эти русские наши Церлины – сколько ни дрессируй, все от них деревенщиной отдает... Хоть в семи водах мой! Приходит вчера, сняла шляпу, проводим время честь-честью, целуемся. Глядь, а у нее тут вот, за ухом, все красное-красное... – Матушка! Что это у тебя? – Кровь... – Какая кровь? – Разве ты позабыл? Ведь я же застрелилась... Ну, тут я вышел из себя, и – ну ее отчитывать!.. – Всеми, говорю, есть границы: какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко! Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь! Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь... Словом, жучил, жучил ее – часа полтора! ну, она молчит, знает, что виновата... Она ведь и живая-то была мо-ол-ча-ли-вая, – протянул он с внезапной тоской. – Крикнешь на нее бывало, – молчит... все молчит... всегда молчит...

– Вот тоже, – оживляясь, продолжал он, – сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какую-то... Каждый день говорю ей: – Что за безобразие? Извиняется: – Это от земли, от могилы. Опять я скажу: какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми... опопонакс, корилопсис, есть хорошие запахи... поди в магазин, к Брокеру там или Сиука кому-нибудь и купи. А она мне на это, дура этакая, представьте себе: – Да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят, мертвенькая ведь я... Вот и толкуй с нею!

В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором.

– Ну все, господа, к черту! Посидели и будет, – суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь пред воображаемым зеркалом, – она сейчас придет... не до вас нам теперь. Я уже чувствую: вот она... на крыльцо теперь вошла... ступайте, ступайте, милые гости! Хозяйева вас не задерживают!

– Ну, *bonne chance en tout!* (*Удачи во всем (франц)*) – засмеялся ординатор. – Вы хоть когда-нибудь показали бы нам ее, Василий Яковлевич? А?

– Да, дурака нашли, – серьезно отозвался Петров. – Нет, батюшка, я рогов носить не желаю. А впрочем, – переменил он тон, – вы, наверное, встретите ее в коридоре... Ха-ха-ха! Только не отбивать! Только не отбивать!

И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому.

На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел за Прядыльниковым, потупив голову, в глубоком раздумье... А ординатор ворчал, озабоченно нюхая воздух.

– Опять эти идолы, сторожа, открыли форточку во двор. Черт знает что за двор! Малярная отравка какая-то – и холод ее не берет... Чувствуете, какая миазматическая сырость?

В самом деле, Дебрянского пронизало до костей холодной, влажной струей затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич с ловкостью кошки вскочил на высокий подоконник и собственноручно захлопнул форточку, с сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности.

– Нечего сказать, в славном месте держим лечебницу. – Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькою, бледною, глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал: «Здравствуйте, голубушка!» – и прошел. Вдруг он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского... Обернулся и увидел, что тот стоит – белый, как мел, бессильно прислонясь к стене, и держится рукою за сердце, глядя в спину только что прошедшей дамы.

– Вам дурно? Припадок? – бросился к нему врач.

– Э... Э... это что же? – пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем вслед незнакомке.

– Как что? Наша кастелянша Софья Ивановна Круг. – Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости.

– Нет, доктор, вы правы: надо мне перестать бывать у вас в лечебнице. Тут, нехотя, с ума сойдешь... Этот Петров, так меня настроил... Да нет! Я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось.

Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сера Пеладана и весь мистический бред, которым было отравился.

– Ну их! От них голова кругом идет.

– Ах, изменник! – засмеялась Радолина. – Ну а что ваш интересный друг и его прекрасная ламия? Влюблена она уже в вас или нет?

– Типун бы вам на язык! – с неожиданно искренней досадою возразил Алексей Леонидович.

Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запискою от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Дебрянскому кое-какие распоряжения по делам. «Торопитесь, – писал врач, – это последняя вспышка, затем наступит полное оцепение, он накануне смерти».

Дебрянский отправился в лечебницу пешком – она отстояла недалеко, захватив с собой посланного солдата. Это был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного, замкнутого мира лечебницы, настоящею королевою которой – по интимным отношениям к попечителю учреждения – оказывалась кастелянша, та самая Софья Ивановна Круг, что встретила Дебрянскому с ординатором в коридоре, у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с этою особой. «Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает». Солдат защищал врачей, ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя.

– И что он в ней, в немке, лестного для себя нашел? Никакой барственной деликатности! Рыжая, толстая – одно слово: слон персидский!

Алексея Леонидовича словно ударили:

– Что-о-о? – протянул он, приостанавливаясь на ходу. – Ты говоришь: она рыжая, толстая?

– Так точно-с. Гнедой масти – суцая кобыла нагайская.

У Дебрянского сердце замерло, и холод по спине побежал: значит, они встретили тогда не Софью Ивановну Круг, а кого-то другого, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал... Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?

Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата:

– Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля Петрова?

Солдат сконфузился:

– Что же нам думать? Мы не доктора.

– Да что доктора-то говорят, я знаю. А вот вы, служители, не заметили ли чего-нибудь особенного?

Солдат помолчал немного и потом залпом решительно выпалил:

– Я, ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктора надо, а старца хорошего, чтобы по требнику отчитал.

И, почтительно приклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал:

– Доктора им, по учености своей, не верят, говорят «воображение», а только они, при всей болезни своей, правы: ходит-с она к ним.

– Кто ходит? – болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы.

– Анна эта... ихняя, застреленная-с...

– Бог знает что! – Дебрянский зашагал быстрее.

– Ты видел? – отрывисто спросил он на ходу после короткого молчания.

– Никак нет-с. Так – чтобы фигурую, не случилось, а только имеем замечание, что ходит.

– Какое же замечание?

– Да вот хоть бы намедни, Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору. Дело к вечеру. Видит: лампы тускло горят. Стал заправлять – одну, другую... только вот откуда-то его так и пробирает холодом, сыростью так и обдает – ровно из погреба.

– Ну-ну... – лихорадочно торопил его Дебрянский.

– Пошел Карпов по коридору смотреть, где форточка открыта. Нет, все заперты. Только обернулся он – и видит: у Петрова господина дверь в номер приотворилась и затворилась... и опять мимо Карпова холодом понесло... Карпову и взбрело на мысль: а ведь не иначе это, что больной стекло высадил и бежать хочет... Пошел к господину Петрову, а тот – без чувств, еле жив лежит... Окно и все прочее цело... Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была, и обуял его такой страх, такой страх... От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет! Что, говорит, ты, мерзавец, бредни врешь? Вот я самого тебя упрячу, чтобы тебе в глазах не мерещилось...

– Ему не мерещилось, – с внезапным убеждением сказал Дебрянский.

– Так точно, ваше высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?

Петрова Алексей Леонидович застал крайне слабым, но вполне разумным. Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, с стенами, крашенными в голубой цвет над коричневой панелью, была как рама к огромному, почти во всю высоту комнаты от пола до потолка, окну; на подоконник были вдвинуты старинные кресла-розвальни, а в креслах лежал неподвижный узел коричневого тряпья. Этот узел был Петров. Дебрянский приблизился к нему, превозмогая робкое замирание сердца. Петров медленно повернул желтое лицо – точно слепленное из целой системы отечных мешков: под глазами, на скулах, на висках и выпуклостях лба – всюду обрюзглости, тем более неприятные на вид, что там, где мешков не было, лицо казалось очень худым, кожа липла к костям. Говорил Петров тихим, упавшим голосом.

– Вот что, брат Алексей Леонидович, – шептал он, – чувствую, что капут, разделка, ну, и того... хотел проститься, сказать нечто...

– Э! Поживем еще! – бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной покачал головой.

– Нет, кончено, умираю. Съела она меня, съела. Вы не гримасничайте, Степан Кузьмич, – улыбнулся он в сторону ординатора, – это я про болезнь говорю, съела, а не про другое что...

Тот замахал руками.

– Да бог с вами! Я и не думал!

– Так вот, любезный друг, Алексей Леонидович, – продолжал Петров, – во-первых, позволь тебя поблагодарить за участие, которое ты мне оказал в недуге моем... Один ведь не бросил меня околевать, как собаку.

– Ну, что там... стоит ли? – пробормотал Дебрянский.

– Затем – уж будь благодетелем до конца. Болезнь эта так внезапно нахлынула, дела остались не разобранными, в хаосе... Ну, клиентурою-то совет распорядится, а вот по части личного моего благосостояния просто уж и ума не приложу, что делать. Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещания не могу уже сделать: родственники оспаривать будут правоспособность и, конечно, выиграют... Между тем, хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное... Да... о чем бишь я?

Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал.

– Так вот, завещания-то я не могу сделать, а между тем, мне хотелось бы и тебе что-нибудь оставить на память... на память, чтобы не забыл... Дрянь у меня родня, ничего не дадут... на память, чтобы не забыл... Анне, бедняжке, памятник следовало бы... Мертвенькая она у меня... памятник, чтобы не забыл...

Он страшно слабел и путал слова. Ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукою.

– Зашелкнуло! – сказал он с досадою. – Теперь вы больше толку от него не добьетесь! Он уже опять бредит.

Больной тупо посмотрел на него. – ан не брежу! – хитро и глупо сказал он. – Завещание! Вот что!.. Дебрянскому – чтобы не забыл! Что? Брежу? Только завещать – тю-тю. Нечего! Вот тебе и – чтобы не забыл. А вы – брежу! Как можно? Завещание Анна съела... хе-хе! Глупа – ну, и съела! Ну, и шиш тебе, Алексей Леонидович! Шиш с маслом!

И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом, как бы пораженный внезапною мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно. Потом сказал медленно и важно:

– А знаешь, Алексей Леонидович? Завещаю-ка я тебе свою Анну?

– Угостил! – улыбнулся ординатор, а Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица.

– Господи! Василий Яковлевич! Что ты только говоришь?

Больной снисходительно замахал руками:

– Не благодари, не благодари... не стоит! Анну – тебе, твоя Анна... ни-ни! Кончено! Бери, не отнекивайся!.. Твоя! Уступаю!.. Только ты с нею строго, строго, а то она – у-у-у какая! Меня съела и тебя съест. Злая, что жила мало, голодная! Бедовая! Чувства гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь из жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вместо крови – одна вода и белые шарики... как бишь их там?.. Хоть под микроскоп! Ха-ха-ха! И с тобою то же будет, друг Алексей Леонидович, и с тобой! Она, брат, молода, голодна, жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих...

И расхохотался так, что запрыгали все комки и шишки его обезображенного лица.

Ординатор подмигнул Дебрянскому: теперь-то, мол, будет потеха.

– Вот этого пунктика, Василий Яковлевич, – сказал он с серьезным видом, – мы у вас не понимаем. Как: «хочет жить и любить»? Она мертвая...

– Мертвая, а ходит. Что она разбила себе пулей висок, да закопали ее в яму, да в яме сгнила она – так и нет ее? Ан вот и врешь: есть! На миллиарды частиц распалась и, как распалась, тут-то и ожила. Они, брат, все живут, мертвые-то. Мы с тобой говорим, а между нами вон в этом луче колеблется, быть может, целый вымерший народ. Из каждой горсточки воздуха можно вылепить сотню таких, как Анна.

Он сжал кулак и, медленно расжав его, тряхнул пальцы. Дебрянский с содроганием проследил его жест. Сумасшедшая болтовня Петрова начала его подавлять.

– Ты думаешь, воздух пустой? – бормотал он, – нет, брат, он лепкий, он живой; в нем материя блуждает... понимаешь? Послушная материя, которую великая творческая сила облекает в формы, какие захочет... Дифтерит, холеры, тифы... Это ведь они, мертвые, входят в живых и уводят их за собою. Им нужны жизни чужие в оплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! В бациллу, чай, веришь, – а что мертвые живут и мстят, не веришь. Вот я бросил карандаш. Он упал на пол. Почему?

– Силою земного тяготения.

– А видишь ты эту силу?

– Разумеется, не вижу.

– Вот и знай, что самое сильное на свете – это невидимое. И если оно вооружилось против тебя, ты его не своротишь! Не борись, а покорно погибай. Ты, Дебрянский, Анны испугался. Анна – что? Анна – вздор: форма, слепок, пузырь земли! Анна – сама раба. Но власть, но сила, которая оживляет материю этими формами и посылает уничтожить нас – that is the question! (Вот в чем вопрос (англ) Ужасно и непостижимо! И они – пузыри-то земли – не отвечают о ней. Узнаем, лишь когда сами помрем. Я, брат, скоро, скоро, скоро... И из меня тоже слепится пузырь земли, и из меня!

Он тарачил глаза, хватал руками воздух, мял его между ладоней, как глину. Людей он перестал замечать, весь поглощенный созерцанием незримого мира, который копошился вокруг него...

Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием.

– Да что вы! – шептал ему ординатор. – На вас лица нету... Опомнитесь! Ведь это же бред сумасшедшего...

А Петров лепетал:

– Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я – выеденное яйцо, скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди. Она говорит: уйду, но дай мне взамен себя другого. Сказываю тебе: молода, не дожидая своего, недолюбила. Ну что ж? Ты приятель мой, друг, я тебе благодарен... вот ты ее и возьми, приюти, пусть тебя любит... ты стоишь... возьми, возьми!

– Уйдем! Это слишком тяжело! – пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав.

– Да, не весело! – согласился тот. Они вышли.

*И покончив с ним,
Я пойду к другим,
Я должна, должна идти за жизнью вновь...*

– летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова. Очутившись в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна, и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку.

– Степан Кузьмич! – сказал он дружеским и печальным голосом, – зачем вы мне тогда солгали?

Прядильщиков вытаращил глаза:

– Когда?!

– А помните, вот на этом самом месте мы встретили...

– Софью Ивановну Круг. Помню, потому что вам тогда что-то почудилось и вы чуть не упали в обморок.

– Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич. – Ординатор пристально взглянул ему в лицо.

– Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно! – мягко сказал он. – Как не Софья Ивановна? Да хотите, мы позовем ее сейчас, самое спросим?

И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которою помещалась амбулаторная приемная.

– Софья Ивановна! – крикнул он, отворяя еще какую-то дверь. – Благоволите пожаловать сюда.

– Gleich. (*Одну минуту (нем.)*)

Выплыла огромная, казенного образца немка aus Riga, с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком.

– Вот-с... – показал в ее сторону всей рукою ординатор. – Софья Ивановна! Голубушка! Вы помните, как с неделю тому назад встретили меня вот с этим господином возле номера господина Петрова?

– Oh, ja! – протянула немка голосом сырым и сдобным. – Я очень помнил. Потому что каспадин был очень bleich, (*испуганный (нем)*) и я очень себе много удивлений давал, зашем такой braver Негг (*бравый мужчина (нем)*) есть так много очень bleich.

– Ну-с? Вы слышали? – засмеялся ординатор.

Дебрянский был поражен до исступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост...

– Да не сталкивались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня! – подумал он с тоскою, – когда им было и зачем?

И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне:

– Извините, пожалуйста. Я вот спорил со Степаном Кузьмичем... Мне тогда вы показались совсем не такою...

– О! Я из бань шел, – получил он прозаический и добродушный ответ. – Из бань человек hat immer (*всегда имеет (нем)*) разный лизо, и я имел лизо весьма очень разный...

Глупая немка «с весьма очень разным лицом» своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим суеверием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Пречистенский бульвар встретил сановника-окультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно без всякого опасения нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию.

– О! – сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую шутку сыграли с ним расстроенные нервы. – О! Вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении – что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии, – могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди... Да! Так что вы, молодой друг мой, несомненно, видели не эту толстомясую немку, которая, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес! – но ламию, самую настоящую ламию, в настоящем ее виде. А господину ординатору она представилась немкою... еще раз очень прошу вас: дайте мне ее адрес.

На мгновение Дебрянского как бы ожгло.

«Лепкий воздух, живой», с отвращением вспомнил он и задрожал, поймав себя на том, что, повторяя жест Петрова, сам мнет воображаемую глину...

– Глупости, – с досадою сказал он про себя, – довольно дурить! Пора взять себя в руки! Что я – семидесятилетний рамолик, (*От франц. ramolli – старчески расслабленный, слабоумный от старости*) что ли, выживший из ума? А к Петрову ходить – баста. Это в самом деле заражает...

И, овладев собою, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах.

В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал со знакомым в «Эрмитаж» и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная холостая квартира встретила его теплом и комфортом. В спальне, ласково грея, тлел камин. У Дебрянского была привычка: перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и в одном белье сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул, ярко озарив всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе... Он вспомнил только что виденную веселую оперетку, с примадонною, такою же толстой, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом, вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими...

– Уж не умеешь говорить по-русски, – качаясь в кресле рассуждал он незаметно засыпающим умом, – так говори по-иностранному, иностранные слова... Тьфу! Что это я?! – опаматовался он и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова и заклевал носом.

– А многие есть и образованные, – продолжало качать его, – не знают говорить иностранные слова, да... цивилизация, Стэнли, апельсин... иностранные... А поэзия – это особо... Вавилов, музыкант, «дует», не может выговорить, все на первый слог ударяет... Образованный, иностранный, а не может... дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация... Дует, дует, откуда, зачем дует?... В коридоре дует... ужасно скверно, когда дует...

Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услышал над самым своим ухом, будто кто-то греет руки: ладонь зашуршала о ладонь... Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла –

чуть видная в багряном отблеске затухающего камина – сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку.

– Это... та! Немка из лечебницы! – спокойно подумал Дебрянский. – Ишь, как иззябла... да, дует, дует... иностранная немка, с весьма очень разным лицом...

Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания... Наконец, она повернула к нему лицо – бледное лицо с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь... И бледные губки ее дрогнули, и страшно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы... и раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены:

– Анною звать-то меня... Аннушка я... мы перемышльские...

Поутру слуга Сергей, войдя в кабинет со щеткою, попятился в страхе: барин, которого он вчера вечером оставил живым, бодрым и веселым, лежал на ковре навзничь, бесчувственный, в глубоком обмороке... Слуга бросился за врачом... Долго приводили в чувство Алексея Леонидовича, и когда он открыл глаза, стоял в них невыразимый, недоверчивый ужас... первым его вопросом было:

– Она ушла?

– Кто-с? – удивился Сергей.

Дебрянский не отвечал. Врач напоил его бромом, предписал спокойствие и удалился. Но Алексей Леонидович чувствовал себя уже совершенно здоровым и даже поехал в контору.

– Барки, – доложил Сергей, одевая его, – я не смел вам сказать, потому что доктор запретил вас беспокоить, но, как скоро вы выезжаете... Сейчас из лечебницы солдат приходил. Господин Петров в ночь скончался...

Дебрянский страшно побледнел.

– Я знаю, – глухо сказал он и очень удивил тем Сергея: откуда мог узнать барин, со вчерашнего вечера из кабинета не выходявший и ночь без чувств пролежавший, новость, которую он-то – первый узнавший – так тщательно берег?

Днем Алексей Леонидович возвратился домой только на несколько минут, чтобы взять деньги из несгораемого шкапа, и затем пропал до следующего утра... Сергей услышал его звонок уже в девятом часу утра, когда ноябрьский день стал светел и солнечен, и отворил ему, красному, опухшему, видимо, не спавшему всю ночь, но мирному и спокойному. Он лег спать и спал до сумерек. Проснулся, увидел, что темнеет, пришел в великий испуг, почти в отчаяние и так торопился вон из дома, что Сергей невольно подумал:

– Надо быть, на свидание спешает... Мамзельку завел!

Так прошло с неделю. Петрова давно похоронили. Дебрянского не видать было ни на отпевании, ни на кладбище. Дома жить он почти совершенно перестал. Изумленный Сергей ума не мог приложить, что случилось с его приличнейшим и аккуратнейшим барином-домоседом. Побежали о Дебрянском по Москве странные и нехорошие слухи, что он кутит и ведет самую рассеянную жизнь.

Прямо из должности теперь он ехал в какой-нибудь самый людный и светлый ресторан, оттуда переключивался в театр, по окончании спектакля спешил в клуб или кафешантан, стал завсегдатаем «Яра» и «Стрельны» и, наконец, если всюду огни потушены и зевающие люди расходились по домам, а ночи оставался еще кусок длинный, то Алексей Леонидович, сгорая от стыда, что – не ровен час – какой-нибудь юноша его заметит и узнает, стучался в публичные дома. Здесь он удивлял тем, что нанимал трех, четырех и больше женщин, никогда не пользуясь ни одной: они должны были только сидеть с ним и говорить, по возможности, без умолку, а он поил их вином, портером, шампанским и ни одну не отпускал от себя, покуда день не белил занавесей на окнах и не становилось совершенно светло. Тогда вставал, приводил себя в порядок для города, расплачивался и уезжал. Это был как раз тот образ жизни, который в предсмертные годы свои вел покойный Петров, и Алексей Леонидович с холодным ужасом

сознавал, что встал на ту же дорогу: превращался в «человека толпы», как угадал его когда-то Эдгар По – в существо, обреченное на людность, потому что одиночество для него, – пытка безумия или даже смертный приговор.

Единственный раз, что Дебрянский остался переночевать дома, обморок повторился. К счастью, Сергей был недалеко и при помощи нашатырного спирта и коньяку оживил больного довольно быстро. И опять первым вопросом Дебрянского было:

– Она ушла?

– Кто, барин?

Алексей Леонидович покачал головою.

– Я знаю, кто она была, а кто она теперь, это, брат мудрее нас с тобою.

– Вы, барин, должно быть, дурной сон видели?

– Нет, братец, какой там сон!

Но потом подумал и головою затряс.

– А, впрочем, кто ее знает: может быть, и сон...

Назавтра он сидел на приеме у знаменитого психиатра: старого седобородого профессора, с голым черепом, крутою шишкою выдвинутым вперед, с целым кустарником седых бровей над голубыми глазами.

– Поймите, профессор, – шептал он, – я потерял себя, я потерял жизнь. Из нее удалились факты, а вместо них воцарились призраки. Если я не вижу их, то все равно предчувствую. Между моим глазом и светом как будто легла тюлевая сетка, самый ясный из московских дней кажется мне серым. В самом прозрачном воздухе, мерещится мне, качается мутная мгла, тонкая, как эфир, и такая же зыбкая... влажная и осклизлая. Я ощущаю ее ползучее прикосновение на своем лице. И я чувствую всем существом своим, чувствую, профессор, всем инстинктивным испугом живого перед мертвым, что эта серая муть и есть именно та таинственная материя, сложенная из отжитых жизней, о которой говорил мне в своей безумной мудрости несчастный Петров. И он был прав. Она, эта лепкая, зыбкая материя, течет в непрерывном движении и готова рождать «пузыри земли» в любой форме, в каждом образе, покорная повелительной силе, чтобы понять которую – говорил Петров – надо сперва умереть...

Выслушав Дебрянского, психиатр долго думал.

– Туман, – сказал он наконец.

И в ответ на вопросительный взгляд клиента прибавил:

– Это все – вот это.

Он указал на окно, седое от разлитой за ним молочно-белой мглы холодных паров: уличные фонари мигали сквозь нее красноватыми тусклыми огоньками, будто из-под матовых колпаков.

– Англичане в такие туманы стреляются, а русские сходят с ума. Вы русский, следовательно... Лечиться надо, сударь мой! Звуковые галлюцинации – еще половина горя, а уж если пошли зрительные... Что? Вам не понравилось слово «галлюцинации»? То-то вот и есть. Оккультизмом баловаться безнаказанно нельзя-с. Огонь жжется. Привидений вы боитесь, а за галлюцинации уже обижаетесь. Ну-с, я не буду диспутировать, насколько реальны ваши представления. Как вы ни страдаете от них, но вам – не правда ли? – в то же время хочется, чтобы они были настоящие, а не воображаемые. Бывает-с, бывает-с. Не думайте, что вы один. Ко мне и сейчас является дважды в неделю один кандидат на судебные должности, которого покойная супруга навещать изволит и чай с ним пьет. Хлеб мне показывать принес, ею будто бы недоенный, со следами зубов-с. Тоже на оккультизме свихнулся, после Гюисмансова «La-Bas». Много эта книга мозгов испортила. Так вот и давайте не диспутировать, но лечиться. И я вас вылечу. Бегите отсюда. Бегите туда, где нет этого... – он снова указал на окно, – и, если можно, навсегда. Бегите под яркое небо, под палящее солнце, к ласковым морям, к пальмам и газелям. Там вы забудете своих призраков. А север – родина душевных болезней – для вас более не

годится. Ваш Петров сказал правду. Воздух у нас живой и лепкий: он населен сплином, нев-
растений, удрученными и раздражительными настроениями. Мы ведь киммеряне. Вы читали
Гомера?

– Давно.

Доктор закрыл глаза и прочитал наизусть:

– «Бледная страна мертвых, без солнца, одетая мрачными туманами, где, подобно лету-
чим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привидений, наполняющих и
согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах своих жертв».

И когда эта цитата заставила Алексея Леонидовича вздрогнуть профессор засмеялся и
ударил его по плечу.

– У вас киммерийская болезнь... Бегите на юг! Недуг, порожденный туманом и мраком,
излечивается только солнцем...

И вот он здесь...

Глава 3

Вечером Алексей Леонидович Дебрянский и граф Валерий Гичовский снова свиделись в оперном театре в антракте спектакля. Ставили «Лоэнгрин». Опера в Корфу не первоклассная, но и не слабая: труппы обыкновенно набираются молодые, однако не из совсем новичков, а таких, которые уже выдержали где-нибудь в Италии сезон-другой на второстепенных сценах и прошли с успехом, метят в многообещающие.

Дебрянский был изумлен обилием знакомых у Гичовского. Ему приходилось кланяться на каждом шагу. Почти все дамы в ложах кивали ему.

– Когда это вы успели приобрести такую популярность? – спросил Алексей Леонидович.

– О, боже мой... Да ведь я же здесь, по крайней мере, в пятнадцатый раз... Иногда живал по месяцу, по два... Вот поедемте когда-нибудь в глубь острова, на гору Пакратора... Я вас познакомлю с пастухами коз. Горы здешние я излазил. Видите ли, один старожил уверял меня, будто на Панкраторе есть пещера или, вернее сказать, расщелина – это ведь погасший вулкан, – в которой люди пьянеют от особых, наполняющих ее, газов и приходят в восторженное состояние. Знаете – вроде того, как в Дельфах, с пифией... Я стал искать эту расщелину. Однако либо не нашел ее, либо она выветрилась и потеряла свои прежние качества... Весьма возможно. Ведь вот и знаменитая Собачья пещера близ Неаполя в последние годы уже перестала привлекать иностранцев, потому что в нее ворвался поток кислорода и разрешил вековые слои угольной кислоты. Собаки больше не дохнут в Собачьей пещере, а любоваться тем, как на полу ее, прижавшись к земле, тлеет синеньким огоньком восковой огарок, не любопытно для милосердых туристов. И действительно, такое чудо можно время от времени с удобством наблюдать в любой чадной кухне, а у нас в России – постоянно – в каждой черной избе.

– Разве вы предполагаете, что опьянение дельфийской пифии было того же происхождения – от углекислых газов?

– Нет, на этом настаивать не берусь. Известно только, что от газов, но – каких именно, это остается загадкой. Этих античных пророческих оракулов – *Plutonia*, *Charonia* (*Плутония*, *Харония* (лат)) и др. – было ведь множество, и Дельфам только посчастливилось больше других во всемирной репутации. Мори прав: древнему миру, как и новому, нужен был свой повелевающий Ватикан, и центральность положения сделала им Дельфы. Во всех этих хтонических святилищах любопытны некоторые общие черты, которые я надеялся проверить по таинственной пещере корфиотов.

– Например?

– Все они – после экстатического опыта и как бы в наследство его – отравляли людей, которые им вверялись, как некоторою ненавистью к жизни и стремлением к самоубийству. «Печален, как будто побывал в пещере Трофония» – было пословицей в древнем эллинском мире. Дельфийский храм возник вокруг кратера, который, по легенде, открыли козы, опьяненные его испарениями. Людям газы кратера дарили экстазы пророчества, но вместе – и восторги самоубийства. До тех пор, покуда кратер оставался свободным, в бездне его погибло множество из тех, кто искал в нем вдохновения и вдыхал его *pneuma enthusiasticum*. (*Воздух вдохновения* (лат)) Восторженное одурение самоубийства сказывается в подобных местах даже на животных. Элиан, описывая один индийский харониум, говорит, что жертвенные животные, приведенные к его пещере, устремлялись в нее без всякого принуждения, но как бы притянутые незримою силою. В Гиерополисе в Храме Сирийской богини наблюдалось нечто в том же роде. Жертвенного быка не приходилось закалывать – он сам падал, как пораженный молнией, удушаемый отравленным воздухом святилища, который, по свидетельству Страбона и Диона Кассия, могли терпеть только жрецы храма, а они спасали себя тем, что, по возможности, задерживали дыхание. В неаполитанской Собачьей пещере множество путешественни-

ков отметили поразительное равнодушие с каким животные, предназначенные для опыта, шли на готовую смерть. Решительно все плутонические дыры, когда-либо глядевшие изнутри на белый свет, связаны с мифами или действительными случаями экстатического самоубийства. Последний вулканический провал античного Рима сохранился в летописях благодаря чудесной истории Марка Курция, самопожертвование которого, как неоднократно выяснялось историками, мифологами и исследователями религиозных культов, представляло собою не что иное, как ритуальное самоубийство в честь хтонических божеств. Поднимались вы когда-нибудь на Этну или Везувий? Нет? Я очень жизнерадостный человек и жесточайший враг самоубийства. Но, когда я стою у кратера, хотя бы даже незначительного, вроде Стромболи или поццуоланской Зольфатары, это у меня постоянное чувство: тянет туда. Жутко и весело, энтузиастически отважно тянет. Начинаешь понимать Эмпедокла, радостно прыгнувшего в Этну, а миру назад, вверх презрительно вы бросившего подметки своих сандалий. В Трофониев грот, говорят, было жутко вползать только до половины тела, а потом – как вихрем подхватывало и волокло вниз. Все тот же экстаз нарождался! Демонологи на этом соединении жажды смерти с пифическим экстазом построили или множество суеверных теорий и нагородили всякой дьявольщины, а в диком быту кое-где до сих пор еще ходят за пророчествами и знаменьями на вершины вулканов и кормят кратеры человеческими телами, обыкновенно, мертвыми, но под шумок, если европейский надзор прозевает, то и живыми. В Никарагуа есть вулкан Масайя, или Попогатепеку, что значит Дымящаяся Гора. Она искони и кормится таким образом и прорицает. Страна обратилась в христианство, но католические миссионеры воспользовались вулканом: заставляют новообращенных восходить на гору смотреть в кратер на раскаленную лаву – вот, мол, ад, который тебе уготован, если будешь злым... В Аляске, Камчатке, в Африке я знавал индийцев и негров, одурявшихся угарами в вулканических расщелинах и переживавших плутонические обмороки. Это были люди печальные, неразговорчивые, что-то потерявшие в жизни, подобно Данту, оставившему свою улыбку на дне девятиярусного своего ада. Те, кто погружался в пещеру Трофония, извлекались оттуда в обмороке и беспомощности, а придя в себя, надолго теряли способность смеяться и отравлялись на всю жизнь тоской по неведомому. «Вот ты излечился!» – поздравляли их. И слышали ответ: «Лучше бы мне век оставаться больным!..» Знаете, у кого в современности наблюдал я подобную тоску по смерти? У нескольких неудачных самоубийц в Париже, которых вовремя спасли от смертельного угара. Вы, конечно, слышали о роковой жаровне, которою обычно кончают расчеты с жизнью разочарованные в ней обитатели мансард... Я слышал от них совершенно те же многозначительны трофониевы признания... Это сравнительно легкое и в известном периоде, несомненно, экстатическое, бредовое умирание, должно быть, говорит им очень много. Жизнь после него отравлена какою-то пустотою, и я много раз сталкивался с такою же тоской по жаровне, как тоскуют опиофаги по опиуму и гашишу.

– Однако, граф, – заметил Дебрянский, – я вижу, что вы, действительно, наполнили всю свою жизнь погоней за необыкновенным.

– Погоней за знанием, – поправил граф.

В разговоре проскользнуло имя покойной Блаватской. Зашла речь о разоблачении ее тайн Всеволодом Соловьевым. Гичовский знал Блаватскую лично.

– Она была великой фокусницей, – сказал он, – но весьма приятною женщиной.

– Но шарлатанка же?

– Ну, это – как сказать? И да, и нет... Во всяком случае не такая, как этот господин Всеволод Соловьев ее описал... Другого, гораздо более серьезного и возвышенного типа, И к тому же талант огромный, обаятельность совершенно исключительная, страшная способность влиять на людей... Для меня главный недостаток был не в том, что она людей морочила, но – зачем она шарлатанила сама с собою...

– Вы полагаете?

– Не полагаю, но уверен. Эта Елена Петровна не кого-то, а что-то обмануть желала. Вся ее деятельность – какая-то кокетливая проба, танец на канате, натянутом над пропастью. Кокетка с тайною, кокетка с знанием – со всем секретом жизни и смерти. Весь век свой женщина играла всем нутром своим роль исследовательницы и изыскательницы и людям клялась и самое себя, заигрываясь, уверяла, будто ищет знания, естественных психологических сил, присущих человеку, чтобы осуществлять чудесное, но не изученных им до степени разумного волевого владения. А в действительности-то, втайне, про себя ненавидела она такое естественное знание всею душою, жаждала только веры и только чуда – откровений сверхъестества, феноменов мистической силы. Когда обнаруживались пред нею пути естественных объяснений сверхъестественным феноменам, она брезгливо жмурила глаза и отмахивалась от подобных возможностей обеими руками. Если вы настаивали, то раздражалась, сердилась и прямо-таки по-дамски, теряя всякую логику, перебежала к рассказам и доказательствам, которые во что бы то ни стало оставляли чудо чудесным – значит, шли вразрез со всею ее собственной quasi-научною теорией. Сама того не замечая, она теряла лицо и обнаруживала свою изнанку и подкладку: оказывалась и наивно спириткою, и демономанкою, даже просто суеверною русскою бабою с напуганным, темным, деревенским умом... Между тем, нельзя было уязвить ее обиднее, чем зачислив ее, теософку, по которой-нибудь из иных спиритуалистических категорий – унижением и клеветою почитала... Знаете ее знаменитое: «ну, ты верь, а я подожду!»... Все толковала об естественных путях и силах, а в то же время в естественных науках была круглая невежда, да и вряд ли хотела их знать – некогда было, и дисциплины ума оно требует, а на этот счет Елена Петровна была страх как ленива. Барыня и старой, крепостной еще, закваски дама! Фактов она ни когда не наблюдала, а брала их, как ей нравилось, и понимала, как хотела... Вообразила же она – и совершенно искренно вообразила – своим единомышленником такого заклятого врага спиритуалистов, как физиолог Карпентер. И как ни в чем не бывало, терминологией его пользовалась и ссылки на него делала – и, я уверен, вполне по доброй совести, *bona fide* (*вполне искренно (лат)*), нисколько не сознавая, что тем разрушает собственные доказательства и совершает, в некотором роде, самоубийство. Она сама говорила, что все неизвестное, таинственное привлекает ее, как пустое пространство, и, производя головокружение, притягивает к себе, подобно бездне. Каждой разоблаченной, упрощенной, закономерно разъясненной тайны ей жаль было, как куска, оторванного от ее сердца: *Quod erat demonstrandum* (*что и требовалось доказать (лат)*) – для нее не существовало. Ее вера была: *credo quia absurdum* (*Верю, потому что абсурдно (лат)*). Во всяком случае, она была в десять раз умнее и симпатичнее своего обличителя и обладала тем, что ему и во сне никогда не снилось – мутным и дурно выраженным, зачаточным и хаотическим, запутанным по логическому невежеству, по произвольности опорных фактов и исходных посылок, но все-таки в корне-то не случайным, а способным и сложиться в систему, и выделить себя из системы – философским мировоззрением. А красноречива-то как была, когда в ударе!.. Я знал ее уже старою и довольно безобразною – однако, в нее еще влюблялись... Если она бывала в духе, то я предпочитал ее общество всякому другому. Зная мое отвращение к игре в сверхъестественное, она – для меня – снимала свою жреческую оболочку и являлась такою, как была в действительности: живою, начитанной, много видевшей на своем веку собеседницей, с острым и весьма наблюдательным умом.

– Неужели, граф, она так-таки ни разу и не показала вам черта в баночке?

– Нет. То есть сперва-то она, конечно, пробовала морочить меня своими феноменами: ну, знаете, незримые звоны эти, таинственное перемещение вещей из комнаты в комнату, кисейные рукава, на которых поймал ее Соловьев... Но я сам бывал в переделках у индийских факиров и хороших престиджитаторов, приятель с Казенэвом, так что, имея в распоряжении известные аппараты, берусь проделывать фокусы ничуть не хуже, а, может быть, и лучше почтенной Елены Петровны. Все это я ей высказал – для большей убедительности – на мнимотайнственном условном жаргоне, которому обучили меня в Александрии цыгане, выдававшие

себя за цейлонских буддистов. Блаватская рассердилась, но с тех пор между нами и помину не было о чудесах. Да... Так-то вот и всегда на этой стезе. Живешь – всю жизнь ищешь факты и всю жизнь раздеваешь факты в мираж.

– И никогда ничто не заставляло вас сомневаться в действительности, трепетать, бояться?

– Напротив, очень часто и очень многое. Вот, например, когда в верховьях Нила раненый бегемот опрокинул нашу лодку... Я нырнул и соображал под водою: вот уже у меня не хватает дыхания... пора вынырнуть... и – ну как я вынырну прямо под эту безобразную тушу?!

– Еще бы! Это страх понятный, физический... Я вас совсем о другом спрашиваю...

– Нет: я материалист. Чудес не бывает.

Граф немного задумался и потом продолжал с прежней живостью.

– Ведь все зависит от настроения. Черты, призраки, таинственные звуки – не вне нас; они сидят в самом человеке, в его гордой охоте считать себя выше природы, своей матери, как дети вообще любят воображать себя умнее родителей. Это одинаково у всех народов, во все века. Для меня невелика моральная разница между Аполлоном Тианским и Блаватской – с одной стороны, и между ними обоими и каким-нибудь сибирским шаманом или индийским колдуном – с другой...

– Вот еще! Аполлоний Тианский верил в свое сверхъестественное могущество, а колдуны – заведомые плуты, сознательные обманщики.

– Этого я не скажу. Хороший колдун – непременно человек убеждения, самообмана, но убеждения. Это такое же правило, как и то, что бесхарактерный человек не может быть гипнотизером, зато сам легко поддается гипнозу... Я очень плохой гипнотизер, но чужой гипноз меня не берет. Фельдман раз десять принимался за меня и отходил, посрамлен был. Однако он, несомненно, обладает яркой гипнотической силой. Я видел, как разные развинченные субъекты под его влиянием проделывали удивительнейшие штуки. Одному, например, Фельдман, внушил, что в комнате нет никого, кроме него, – один он. И загипнотизированный субъект бродил по зале, между доброй дюжиной свидетелей, не видя их, не слыша, и, когда наталкивался на которого-нибудь, становился опасен, потому что не замечал препятствия и ломил себе, шел на живое тело, как на пустое место... Гипнотизеру нужен характер, а колдуну вера. Потому что колдовство – палка о двух концах: оно и внушение и самовнушение. Я видел заклинателя-негра; он из черного делался пепельным перед водяными дьяволами, которых он вызывал из ниагарских пучин. Аэндорская волшебница обезумела от страха, когда на зов ее тень Самуила поднялась из земли, чтобы осудить заклинающего Саула. О! Самовнушение – великое счастье и несчастье человеческого ума. В нем, собственно говоря, весь секрет поэтических сторон наших. Ну, а в ком же нет поэтических сторон? Чьей прозаической рассудочности не хочется иногда перерядиться в поэтический костюм: пережить трепеты фантазии, миражи, обманы, обольщения, любопытство и даже самый страх небывалого? И – в этом смысле – если хотите, я, конечно, тоже переживал интереснейшие иллюзии: бывал и испуган, и растроган тем, чего не было, но... хотелось, чтобы было. Один случай я, пожалуй, вам расскажу.

– Пожалуйста, граф! Жду с живейшим интересом.

– Он не без длиннот, но не лишен настроения и красоты.

– Всем городам северной Италии я предпочитаю нелюбимую туристами Геную, может быть, потому, что она – немножко мне родная: я имею в Генуе множество друзей и знакомых, кузенов и кузин. Если вы читали о Генуе, то, я полагаю, знаете и о Стальено – этом кладбище-музее, где каждые новые похороны – предлог для сооружения статуй и саркофагов, в большинстве довольно пошлых, так что мрамора жалко, но иногда замечательной красоты. Когда я бываю в Генуе, то гуляю в Стальено каждый день. Это, кстати, и для здоровья очень полезно. Ведь Стальено – земной рай. Вообразите холм, оплетенный мраморным кружевом и огороженный зелеными горами, курчавыми снизу до верха, от седой ленты шумного Бизаньо до синих, полных тихого света небес... На Стальено сложено в землю много славных итальян-

ских костей, и я люблю иногда пофилософствовать, вроде Гамлета, над их саркофагами. Вот, в один прекрасный вечер я уселся под кипарисами у египетского храма, где спит *apostolo (apostol (итал))* итальянской свободы – великий Джузеппе Мадзини, да и замечтался, а замечтавшись, заснул. Просыпаюсь: темно. Где я? что я? Вижу кипарисы, вижу силуэты монументов – постичь не могу: как это случилось, что я заснул на стальенском холме?

Стальено запирается в шесть часов вечера. Я зажег спичку, взглянул на часы: четверть девятого... Следовательно, я проспал часа три, не меньше.

Тишь была, в полном смысле слова, мертвая. Только Бизаньо издали гроыхает весенними волнами, и скрежещут увлекаемые течением камни: в то время было половодье... Внизу, как блуждающий огонек, двигалась тускло светящаяся точка: дежурный сторож обходил нижние галереи кладбища. Пока я раздумывал: позвать его к себе на помощь или нет, – тусклая точка исчезла, дозорный отбыл свой срок и пошел на покой... Я был отчасти рад этому: спуститься с вышки, когда взойдет луна – а в это время наступило уже полнолуние – я и сам сумею: а все-таки будет меньше одним свидетелем, что граф Гичовский неизвестно как, зачем и почему бродит по кладбищу в неурочное время... Генуэзцы самые болтливые сплетники в Италии, и я вполне основательно полагал, что мне достаточно уже одного неизбежного разговора с главным привратником, чтобы назавтра стать сказкой всего города.

Я сидел и ждал. Край западной горы осеребрился; сумрак ночи как будто затрепетал. Все силуэты стали чернее на просветлевшем фоне; кипарисы обрисовались прямыми и резкими линиями – такие острые и стройные, что казались копьями, вонзенными землею в небо... Белая щебневая дорожка ярко определилась у моих ног; пора было идти... Я повернул налево от гробницы Мадзини, сделал несколько шагов вниз и невольно вздрогнул и даже попятился от неожиданности: из-за обрыва верхней террасы глядел на меня негр – черный исполин, который как бы притаился за скалой, высматривая запоздалого путника.

Что это призрак или злой дух – мне и в мысль не пришло; но я подумал о возможной встрече с каким-нибудь разбойником-матросом (африканцев в Генуе много и по большей части они отчаянные мошенники), я схватился за револьвер... да тут же и расхохотался. Как было по первому взгляду не сообразить, что у негра голова раз в пять или шесть больше обыкновенной человеческой?! Я принял за ночного грабителя бюст аббата Пиаджио – суровую ограду грубо вылитого чугуна, эффектно брошенную без пьедестала в чаще колючих растений, на самом краю дикой природной скалы.

Этот памятник и днем производит большое впечатление; вам кажется, что аббат снова лезет на белый свет из наскучившей ему могилы и вот-вот выпрыгнет и станет над Стальено, огромный и страшный в своем длинном и черном одеянии. Ночью же он меня, как видите, совсем заколдовал, тем более, что я совершенно позабыл о его существовании...

Я спокойно сошел в среднюю галерею усыпальницы Стальено; лунные лучи сюда еще не достигали, статуи чуть виднелись в своих нишах, полных синего сумрака. Но когда, быстро пробежав эту галерею, я остановился на широкой лестнице, чуть ли не сотнею ступеней бегающей от порога стальенской капеллы к подошве холма, я замер от изумления и восторга. Нижний ярус был залит лунным светом – это царство мертвых мраморов ожило под лучами светила, не греющего живых... Мне вспомнилась поэтическая фраза Альфонса Карра из его «Клотильды»:

«Мертвые только днем мертвы, а ночи им принадлежат, и эта луна, восходящая по небу, – их солнце».

Я стоял, смотрел, и в душу мою понемногу кралось, таинственное волнение, и жуткое, и приятное. Не хотелось уйти с кладбища. Тянуло вниз – бродить под портиками дворца покойников, приглядываться к бледно-зеленым фигурам, в которых предал их памяти потомства резец художника; верить, что в этих немых каменных людях бьются слабые пульсы жизни,

подобной нашей; благоговеть перед их непостижимой тайной и любопытно слушать невнятное трепетание спящей жизни спящих людей.

Я тихо спустился по лестнице, внутренне смеясь над собою и своим фантастическим настроением главное – над тем, что это настроение мне очень нравилось. Нижний ярус усыпальницы охватил меня холодом и сыростью: ведь Бизаньо здесь уже совсем под боком.

«Поэзия поэзией, а лихорадка – лихорадкой», – подумал и я направился к выходу, проклиная предстоявшее мне удовольствие идти пешком несколько километров, отделявших меня от моей квартиры: я жил на береговой части Генуи, совсем в другую сторону от Стальено. Я решил уйти с кладбища, но от мистического настроения мне уйти не удавалось. Когда я пробирался между монументами в неосвященной части галереи, мне чудился шелест, точно шепот, точно шаркали по полу старческие ноги, точно шуршали полы и шлейфы каменных одежд, приобретших в ту таинственную ночь мягкость и гибкость шелка.

Признаюсь вам откровенно: проходя мимо знаменитого белого капуцина, читающего вечную молитву над прахом маркизов Серра, я старался смотреть в другую сторону. Реалистическое жизнеподобие этой работы Рота поражает новичков до такой степени, что не один близорукий посетитель окликал старика, как живого монаха, и только подойдя ближе, убеждался в своей ошибке. Я знал, что теперь он покажется мне совсем живым. При солнце он только что не говорит, а ну как луна развязывает ему язык, и он громко повторяет в ее часы то, что читает про себя в дневной суете?!

Мне оставалось только повернуть направо – к кладбищу евреев, чтобы постучаться в контору привратников и добиться пропуска из *simitero*, (*кладбище (итал.)*) как вдруг, уже на повороте из портика, я застыл на месте, потрясенный, взволнованный и, может быть, даже влюбленный... Вы не слыхали о скульпторе Саккомано? Это лев стальенского ваяния. Лучшие статуи кладбища – его работа. Теперь я стоял перед лучшей из лучших: перед спящею девой над склепом фамилии Эрба... Надо вам сказать, я не большой охотник до нежностей в искусстве. Я люблю сюжеты сильные, мужественные, с немного байронической окраской... Действие и мысль интересуют меня больше, чем настроения; драматический момент, на мой вкус, всегда выше лирического. Поэтому я всегда предпочитал девушке Саккомано его же Время – могучего, задумчивого старика, воплощенное «*vanitas vanitatum et omnia vanitas*» ... (*суета сует и всяческая суета (лат.)*) Я и сейчас его видел: он сидел невдалеке, скрестив руки на груди, и, казалось, покачивал бородатой головой в раздумье еще более тяжелом, чем всегда. Меня приковала к себе эта нелюбимая мною мраморная девушка, опрокинутая вечною дремотой вглубь черной ниши. Бледно-зеленые блики играли на ее снеговом лице, придавая ему болезненное изящество, хрупкую фарфоровую тонкость. Я как будто только впервые раз глядел ее и признал в лицо. И мне чудилось, что я лишь позабыл, не узнавал ее прежде, а на самом деле давным-давно ее знаю; она мне своя, родная, друг, понятый мною, быть может больше, чем я сам себя понимаю.

«Ты заснула, страдая, – думал я. – Горе томило тебя не день, не год, а всю жизнь, оно с тобою родилось: горе души, явившейся в мире чужою, неудержимым полетом стремившейся от земли к небу... А подрезанные крылья не пускали тебя в эту чистую лазурь, где так ласково мерцают твои сестры – звезды; и томилась ты, полная смутных желаний, в неясных мечтах, которые чаровали тебя, как музыка без слов: ни о чем не говорили, но обо всем заставляли догадываться... Жизнь тебе выпала на долю, как нарочно, суровая и беспощадная. Ты боролась с нуждою, судьба хлестала тебя потерями, разочарованиями, обманами. Ты задыхалась в ее когтях, как покорное дитя, без споров; но велика была твоя нравственная сила, и житейская грязь отскакивала, бессильная и презренная, от святой поэзии твоего сердца. И сны твои были прекрасными снами. Они открывали тебе твой родной мир чистых грез и надежд. И вот ты сидишь успокоенная; ты забылась, цветы твои – этот мак, эмблема забвения – рассыпались из ослабшей руки по коленам... Ты уже вне мира... Хор планет поет тебе свои таинственные

гимны. Ты хороша, как лучшая надежда человека – мечта о любящем и всепрощающем забвении и покое! Я поклоняюсь тебе, я тебя люблю».

Во «Флорентийских ночах» Гейне рассказывает, как он в своем детстве влюбился в разбитую статую и бегал по ночам в сад целовать ее холодные губы. Не знаю, с какими чувствами он это делал... Но меня, взрослого, сильного, прошедшего огонь и воду, мужчину одолевало желание – склониться к ногам этой мраморной полубогини, припасть губами к ее прекрасной девственной руке и согреть ее ледяной холод тихими умиленными слезами.

Н-ну... это, конечно, крайне дико... только я так и сделал. Мне было очень хорошо; право, ни одно из моих – каюсь, весьма многочисленных – действительных увлечений не давало мне большего наслаждения, чем несколько часов, проведенных мною в благоговейном восторге у ног моей стыдливой, безмолвной возлюбленной. Я чувствовал себя, как, вероятно, те идеалисты-рыцари, которые весь свой век носили в голове образ дамы сердца, воображенный вразрез с грубою правдою жизни... Как Дон-Кихот, влюбленный в свой самообман, умевший создать из невежественной коровницы красавицу из красавиц, несравненную Дульцинею Тобосскую.

Мрамор охлаждал мне лицо, но мне чудилось, что этот холод уменьшается, что рука девушки делается мягче и нежнее, что это уже не камень, но тело, медленно наполняемое возвращающейся жизнью... Я знал, что этого быть не может, но – ах, если бы так было в эту минуту!

Я поднял взор на лицо статуи и вскочил на ноги, не веря своим глазам. Ее ресницы трепетали; губы вздрагивали в неясной улыбке, а по целомудренному лицу все гуще и гуще разливался румянец радостного смущения... Я видел что еще мгновение – и она проснется... Я думал, что схожу с ума, и стоял перед зрелищем этого чуда, как загипнотизированный... Да, разумеется, так оно и было.

Но она не проснулась. А меня вежливо тронул за плечо неслышно подошедший кладбищенский сторож:

– Eccellenza! (*Ваше сиятельство (итал.)*) Как это вы попали сюда в такую раннюю пору?

И в ответ на мой бессмысленный взгляд продолжал:

– Я уже три раза окликал вас, да вы не слышите: очень уж засмотрелись.

Я оглянулся... на дворе был белый день. Я провел в Стальено целую ночь и в своем влюбленном забытьи не заметил рассвета... Не понял даже зари, когда она заиграла на лице мраморной красавицы... Теперь розовые краски уже сбежали с камня, и моя возлюбленная спала беспробудным сном, сияя ровными белыми тонами своих ослепительно сверкающих одежд. Всплывшее над горами солнце разрушило очарование зари...

Неделю спустя, на обеде у маркиза Серлупи, я заметил, что на меня как-то странно смотрят. Наконец, хорошенькая жена французского консула не выдержала и сконфузила меня неожиданным вопросом:

– Правда ли, граф, что вы сделались вампиром, блуждаете по ночам в Стальено и стали на «ты» со всеми призраками *simitero*?

Насмешница убила меня.

Я покраснел как рак, проклял лукавую консульшу, проклял себя, Стальено, Саккомано, статую сна, свое безумие и... в тот же вечер уехал из Генуи с твердым намерением не возвращаться в нее как можно дольше.

Так разговаривая, Дебрянский и граф Валерий просидели в театральном ресторане не только антракт, но и целый акт оперы...

Граф вошел в ложу к знакомым, а Алексей Леонидович, сидя на своем узком кресле партера, не столько смотрел на сцену и слушал музыку, сколько оглядывал публику. Дебрянский был небольшой охотник до Вагнера. Туманный, мрачный, разбросанный, он пугал Алексея Леонидовича... отзывался севером, мистицизмом, фантастикой... Его хроматическая мелодия даже в любовь, даже в лучшие восторги человеческой души вносит начало болезненности и

разрушения. Пусть эта музыка божественна, но она посвящена мрачным и скорбью удрученными богам. Это – «Сумерки богов»... И как всегда при слове «сумерки», Алексей Леонидович почувствовал неприятное сжатие сердца...

Пришел Гичовский и, заметив около Дебрянского свободное место, сел рядом.

– Хотите сделать приятное знакомство? – шепнул он.

– Кто же от этого отказывается?

– В таком случае, я представляю вас Вучичам... Смотрите: первая ложа бенуара, направо...

Дебрянский взглянул – прежде всего ему бросился в глаза резкий профиль лысого старика с огромными седыми усами: настоящий славянский тип. Две дамы с незначительными лицами и очень красивая девушка сидели далее по барьеру ложи. В глубине виднелась еще какая-то женская фигура...

– Это здешние?

– Нет, далматинцы из Триеста. Но у них здесь своя вилла. Богатые люди. Предки Степана Вучича были пиратами, а сам он торгует пшеницей и оливковым маслом и покровительствует искусствам. У него прелестная галерея картин славянских художников: Чермак, Семирадский, Матейко, Хельминский, – и еще более прелестная дочь, которую, как я замечаю, вы не удостаиваете должного внимания. А напрасно: особенно, если вы холосты... ведь холосты?... Она и не глупа, и образование имеет, и много денег. Вучич очень обрадовался случаю повидать русского. Он любит Россию, долго жил в Одессе и даже говорит по-русски... Он просит вас непременно ужинать у него после спектакля.

– Разве здесь ужинают? – удивился Дебрянский, – это что-то не по-гречески...

– Вучичи живут по-триестински... А там – только вечером и начинается жизнь в свое удовольствие. День посвящен делам.

В третьем антракте граф ввел Алексея Леонидовича в ложу Вучичей. Огромного роста, с красноватым, рябым вблизи лицом, толстоносый и черноглазый, старик Вучич напомнил Дебрянскому морского орла, который вот-вот сорвется со скалы и с клекотом полетит на добычу. Он дружески приветствовал нового знакомого.

– Дочь моя Зоица, – отрекомендовал он.

Зоица – похожая на отца чертами лица – была, тем не менее, совершенно лишена того гордого и открытого выражения, каким отличался острый, внимательный взгляд орлиных очей и повелительный склад мясистых губ старика. Наоборот, в ней было что-то робкое, подозрительное. Точно на душе у нее лежала опасная или постыдная тайна, и она постоянно испытывала окружающих взглядом исподлобья: не узнали ли, не догадываются ли? Девушка показала Алексею Леонидовичу жалкою и – так как при всем том она, действительно, была очень хороша собою – симпатичною. Дебрянский ей, кажется, тоже понравился; по крайней мере, взгляд ее прояснился, стал мягче, и на губах задрожала слабая улыбка, сделавшая красивое, бледное лицо Зоицы совсем очаровательным. Гичовский с усмешкой наблюдал эти живые проявления таинственного электрического тока, который внезапно установился между Зоицей и Дебрянским – как всегда это бывает при встречах женщины и мужчины, если им суждено не пройти бесследно в жизни друг друга. Две бесцветные дамы, сидевшие вместе с Вучичами, оказались их дальними родственницами, занимавшими в доме положение не то компаньенок, не то просто приживалок. Пятой фигуры, которую Дебрянский видел в глубине ложи, сейчас в ней не было... Не зная сам почему он очень любопытствовал знать, кто это была, – и почему-то не особенно приятным любопытством...

Спектакль шел к концу. Вучичи заторопились уезжать, прося Гичовского и Дебрянского следовать за ними на их виллу. «Пятая фигура» появилась в ложе, чтобы подать Зоице чесучовый *cache-poussiere*. (*Пыльник (франц.)*)

Она оказалась женщиной, на восточный взгляд, уже не молодой; лет двадцати пяти – большого роста и очень тучной. Смуглое лицо ее – еще недавно, должно быть, на редкость красивое, но теперь испорченное ожирением, которое придало коже болезненно-желтоватый оттенок, – носило отпечаток дикого величия. Она сверкнула на Дебрянского черными глазами из-под густых почти сросшихся бровей, и взгляд ее показался Алексею Леонидовичу мрачным, почти свирепым.

«Танька Ростокинская, разбойница какая-то», – подумал русский, оглядывая странный наряд женщины: к обыкновенной европейской юбке она надела прямо на рубаху расшитую далматскую курточку, шею обвила ожерельем в виде золотой змеи с рубиновыми глазами и всю грудь завесила монистом из червонцев; такие же змеевидные красноглазые браслеты бросились в глаза Дебрянскому на обеих руках ее; талию тоже сжимал чешуйчатый пояс восточного низкопробного серебра, замкнутый пряжкой двух впившихся друг в друга змеиных голов – только у этих змей глаза были у одной зеленые, изумрудные, у другой – желтый топаз; с левого плеча висела длинная, красная в клетках шаль, в которую женщина сердито закуталась, заметив пристальный взгляд Дебрянского. Она отрывисто сказала что-то Зоице по-хорватски, та зарумянилась, и глаза ее снова стали полны смущения и испуга...

– Эта наша Лала, – представила она, наконец, Дебрянскому; он начал было уже недоумевать: за кого он должен считать красивую дикарку. По манерам и виду – это прислуга, по обращению с Вучичами – равная им.

В ответ на вежливый поклон Дебрянского Лала быстро кивнула головой и хмуро буркнула два слова сквозь зубы... Вучич расхохотался.

– Вот вы и окрещены боевым огнем, – дружески сказал он Алексею Леонидовичу. – Не обращайтесь внимания на сердитые глаза Лалы. Это – в правилах дома. Лалица безумно ревнива, боится и ненавидит новых знакомых и, пока не привыкнет, всегда бывает не в духе. Не старайтесь подружиться с ней: если вы ей понравитесь, она сама сегодня же вечером подойдет к вам с протянутой рукой. – И наклонясь к уху Дебрянского, он шепнул по-русски:

– У нее мозги немножко не в порядке... что поделаешь? Она – неизбежное зло нашего дома... Правду сказать, она постоянно ставит нас в самые неловкие положения перед чужими. Но она добрая и хорошая подруга Зоицы: привязанность с детских лет! Притом, хоть и простая, едва грамотная девушка, а все-таки одной с нами крови, одного рода... Последняя в знаменитой древней ветви! Надо беречь.

Фазтон быстро мчал Гичовского и Дебрянского по бульвару императрицы Елизаветы – по этой царице набережных: равной ей по красоте вряд ли найдется другая в Европе.

Климат и море Корфу, его ласкающее уединение излечили нервное расстройство и меланхолический психоз императрицы Елизаветы Австрийской. Здесь все дышит памятью ее пребывания, как в Сорренто и Сан-Ремо – памятью императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Великолепная *Strada Marina* (*Морская улица (итал)*) – лучшая из прогулок в городе Корфу – переименована в бульвар императрицы Елизаветы.

Да! Эта *Strada Marina*, в самом деле, лекарство от психических недугов. Она успокаивает и возвышает душу. Придешь вечером на бесконечную щеголеватую набережную, прильнешь к перилам да уже и отрываться не хочется. До самого горизонта – гладкое яхонтовое море; чуть морщит его, чуть всплескивает у берега. Из-за дальнего острова медленно ползет огромный красный шар луны, точно только что выкупанный в крови. И чем выше ползет он в темно-синий хрусталь неба, тем нежнее и яснее становятся и сам он, и озаренная им ночь; кровавые оттенки переходят в золотые, золото – в серебро; даль мерцает фосфорическим туманом; просветляется высь, просветляется море... Золотой столб убегает по водам в голубой простор – чем дальше, тем шире и ярче – и выцветает из пламени золота в чешуйчатую дрожь серебра, пока не исчезнет где-то на границе моря и воздуха в раздолье широкого блеска. Барки, парус-

ные лодки застыли на блестящих волнах черными пятнами. Их даже не качает: теплое безветрие, песни с них слышатся... дрожат, трепещут в воздухе... «О, Эллада, Эллада!..»

Трещат цикады. Уныло дудит удод. Протяжно кричат какие-то особенные лягушки – странный звук, схожий с полицейским свистком, только *pianissimo* ... (*очень тихо (лат)*)

Заведет под водный городской свою тихую минорную трель и дрожит на ней добрую четверть часа, не переставая.

Песен много – только не таких бы песен сюда надо. Греки слишком немзыкально гнут: итальянцы здесь – все из интеллигенции, тянут, следовательно, «образованную» музыку: «Cavalleria Rusticana», «Rescatori di perle» ... («Сельская честь», «Ловцы жемчуга» (*итал*) Названия опер П. Маскани и Ж-Бизе) Хотелось бы – как на юге в Италии: в воздухе колеблется, как стрекотанье кузнечика, тремоло мандолины, ему глухо поддакивают баски гитары, льется широкая народная кантилена тенора с звучною и низкою второю баритона...

Stanotte e bello lu mare, Cantando e bel a vocare, Vocando e bel a cantar... («Ночью сегодня прекрасное море, красиво мелодия льется, отзывается песней красивой...») (*итал.*)

Застылое в безветрии, синее до черноты море перемигивается с таким же глубоким и темным небом тысячами звезд. Сверкает маяк, краснеют фонарики на барках, дрожит искра зеленого сигнала на пробегающем через залив пароходе. Теплая ночь дышала ароматом цветов, похожих на дурман, – их огромные белые чаши были так велики, что Дебрянский видел их из коляски даже сквозь синий сумрак ночи. Они плелись и вились по каменным изгородям. Даже во рту становилось сладко – столько давали они запаха, неотвязного, мучительно томящего и возбуждающего.

– Если мы еще десять минут будем ехать между этими цветами, – сказал Алексей Леонидович, – вы можете поздравить меня с головною болью... Я просто задыхаюсь... кровь приливает к вискам... сердце бьется...

– Аромат любви, – со смехом возразил Гичовский. – Хорошо еще, что эти белые отравители цветут не одновременно с акациями. Иначе – хоть сходи с ума от любовной лихорадки... И какой только Мефистофель так старается об амурном благополучии корфиотов и корфиоток?

И он замурыкал себе в усы знаменитое заклинание цветов из «Фауста»:

«Notte, stendi su lor l'ombra tua...» («Ночь, пусть падет на них твоя тень...») (*итал.*)

– Чудный остров! – вздохнул Алексей Леонидович. Гичовский согласно пыхнул сигарою.

– Недаром Гомер поместил на нем блаженных феаков и – на передышку от вселенского горемыканья – загнал сюда Одиссея сидеть у очага царя Алкиноя, слушать песни вещего Демодока и целоваться по углам с прекрасной Навзикаей. Вам, конечно, уже показывали островок этот – якобы окаменелый корабль феаков? Любопытная штучка, не правда ли? Беклин из его очертаний, смешав их с рисунком Капри, вообразил свой «Остров Мертвых». В старину, когда я был еще туристом, мне показывали и место, где Одиссей был выкинут волнами на берег, в речку, в которой царевна Навзикая мыла белье. Я уважаю эту гомерическую девицу. Она была прекрасная царевна и хорошая прачка – два качества, вряд ли соединимые в наш век.

Дебрянский усмехнулся:

– Приемницы Навзикаи в современном потомстве, к сожалению, сохранили больше признаков второго ее качества, чем первого. Уж куда неизящны.

– Вы находите?

– Некрасивы: короткие, как обрубки, с квадратными талиями и вульгарными лицами. Должно быть, весьма верные супруги, хорошие матери и образцовые хозяйки, но бог с ними как любовницами! Если таковы были и древние феакийки, я Одиссею не завидую, а Гомеру удивляюсь. Видно, правда, что «и великий Гомер ошибался». Впрочем, неудивительно: он был слепой.

– Вряд ли. Есть прямое доказательство, что у старого поэта был тонко развит вкус на женскую красоту. Он провозгласил смиряннок самыми прекрасными женщинами в мире, и

до сих пор, бродя по набережной Смирны, только ахает: такие великолепные женские лица встречаются на каждом шагу. Очевидно, Гомер и без глаз видел.

– Значит, не Гомер лжет, а корфиотки выродились.

– Это только в городе. Маленькое торговое мещанство. Надо вам сделать экскурсию внутрь острова. Я изъездил его вдоль и поперек: мужское и женское население корфиотской деревни прекрасно. То и дело попадаются божественные типы античных статуй... Впрочем, здесь ли точно жили феакйки и феаки – это еще подлежит сомнению. Риман в своих изысканиях об Ионических островах доказывает, что никаких феакийцев на Корфу не было, а были... вероятно, англичане – с лордом Алкином в качестве губернатора. Я нахожу против этой теории лишь одно возражение: на острове имеются какие-то воображаемые «сады Алкиноя», но нет ему памятника. Будь Алкиной англичанином, уж торчал, бы в честь его какой-нибудь обелиск. Черт знает, сколько они тут глупейших монументов нагородили.

«Notte, stendi su lor l'ombra tua...»

– А ведь Зоица-то недурна, – перебил он вдруг свое пение и поймал на этой же мысли Алексея Леонидовича. В голосе графа слышался смех. Алексею Леонидовичу это не понравилось.

«Что-то уж слишком много фамильярности для первого знакомства», – с неудовольствием подумал он.

– Или, быть может, вы мечтаете о свирепой, но очаровательной Лале? – так же лукаво продолжал граф.

– Ни о ком я не мечтаю, – сухо возразил Дебрянский. – Скажите, кстати: что это за Лала такая?

– Да ведь вы же видели: горничная на положении подруги или подруга на положении горничной. Дикое существо с гор, лишенное всякого образования, что не мешает ей быть очень уважаемой в доме.

– Да, старик Вучич уже успел похвалиться мне, что она из каких-то знатных...

– О да! Захудалая, но из знатных и древних, даже с мифологическим корнем – далеко и глубоко в средних веках...

– Как же это: и знатная, и древняя, а необразованная и в доме родственников, говорите вы, чуть ли не на положении горничной?

– Балканские нравы. В южном славянстве даже неграмотные мужики свою родословную лет за триста помнят. Здесь аристократии нет, а есть именно знать: роды, которые давно известны, которые искони знают. Сербы, хорваты, болгары – самые демократические народы в Европе, но культ предков у них свят. Эта Лала – нищая и едва грамотна, однако бедность и невежество не препятствуют ей быть и держать себя весьма гордою деревенскою принцессою и на того же самого, например, Вучича, который ее хлебом кормит, смотреть положительно свысока. Для меня она клад, потому что фантастка, суеверка и знает удивительнейшие сказки, которых я от других не слыхал.

– У нее дерзкий взгляд и надменные губы. Должно быть, сварливая ужасно...

– Нет, только вспыльчивая. В сущности, весьма милое и кроткое создание – хотя и с огромным недостатком: ненавидит наш пол до иступления. Мы-то с нею друзья, а вот когда мой приятель Делианович, друг и кредитор Вучича, вздумал за нею ухаживать, Лала проткнула ему живот шпилькою...

– Как шпилькою?

– А видели: у нее в косе торчит золотой шар. Под этим шаром – золотая шпилька, так, дюйма четыре длиною. Это обычай: в Истрии все так. Такая штучка в умелых руках стоит доброго ножа. По крайней мере, Делианович после этой шпильки болел, болел, киснул, чах и наконец, совершив в пределе земном все земное, самым добросовестным образом умер.

– Какая дикость!

– Да... странная девка. В ней много чего-то... «Je ne sais quoi, je ne sais quoi, mais poétique», «*Не знаю чего, не знаю чего, но поэтична*» (франц.) – запел он из «Маскотты». Впрочем, вероятно, Вучич покажет вам ее в полном блеске: она отлично поет и мне еще больше нравится, как она декламирует.

– Декламирует? Но вы же говорите, она полуграмотная...

– Ну да, конечно. От этого-то она и оригинальна. Она все импровизирует... Начало иной раз выходит плохо – путает, сбивается, не находит размера, а потом разойдется до экстаза – и чудо что такое... Я слышал итальянских и испанских импровизаторов – куда им! Далеко! Там нет-нет да и почувствуешь симуляцию, словоизвитие, голый поток привычного метра и подготовленных рифм, а эта – вся натура.

– Зачем же она такой дурацкий костюм носит?

– Почему же дурацкий? Ведь красиво?

– Мало ли что красиво... Цыганка не цыганка, жрица не жрица...

– Идет к ней – вот и носит... А вы заметили, сколько она на себя змей навертела? И в серебре, и в золоте...

– Да, и нахожу это довольно отвратительным. Не охотник я до пресмыкающихся... особенно змей.

– Ах вы неблагодарный!

– Почему?

– Да кто же все мы были бы теперь, если бы не усердие змия райского к почтенной нашей прааматери Еве? Сидели бы гориллы-гориллами и дураки-дураками под деревом жизни да яблоки жевали бы...

– Зато не знали бы смерти.

– И мысли. Ну-ка на выбор, что дороже?..

– «Не дай мне бог сойти с ума!», – невесело улыбнулся Алексей Леонидович.

– То-то вот и есть... А если вы боитесь змей, то предупреждаю вас заранее, не испугайтесь у Вучичей, буде приползет к вам некоторая гадина... Ручной уж скользит у них по всему дому. Большой любимец Зоицы и Лалы. Громаднейшая тварь, красавец в своем роде, пестрый, как мрамор, редкостный экземпляр...

– Вот гадость! Спасибо, что сказали... А то я с перепуга способен был бы треснуть его – чем ни попадя...

– Да сохранят вас от такой беды молитвы предков ваших! Сразу врагов бы нажили. Вучичи ужа своего обожают... Это, знаете, типическое, славянское. У всех южных славян считается большой честью и счастьем, если в доме заведется уж. Почитают его чем-то вроде домашнего гения-хранителя...

– Да, это я и у нас в России в хохлацких деревнях видал, как дети в хатках, на полу, хлебали молоко из одной чашки с ужом...

– Лала со своим Цмоком тоже каждым куском делится и в собственной постели спать ему позволяет. Страстно его любит. Прямо змеепоклонница какая-то. У нас с нею, кажется, и дружба-то с того началась, что я рассказал ей однажды про малайских «нага» и змеиные культы в экваториальной Африке. Слушала, как роман. С тех пор я – ее фаворит, и нас, что называется, водой не разольешь.

– С змеей дружба началась, а чем упрочилась?

– Тем, что я никогда не ухаживал за ее обожаемой Зоицей... *A bon entendeur salut! Имеющий уши да услышит* (франц.).

Вучич жил принцем, а скромный стакан вина, на который приглашал он гостей, оказался ужином на широкую ногу. Стол был накрыт на террасе, повисшей над морем. Луна висела в небе – круглая и желтая, и золотой столб дрожал по заливу...

Лала не ужинала и вышла на террасу, только когда на столе оставались вино и фрукты, а мужчины взялись за сигары. К столу она не села, а прислонилась к мраморным перилам террасы и, сложа на груди толстые, выше локтя голые руки, глядела в морскую даль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.